

МАЙКЛ ДЭВИД-ФОКС

# ПЕРЕСЕКАЯ ГРАНИЦЫ

библиотека  
журнала

АНТРОПОЛОГИЯ СОЦИОЛОГИЯ ПОЛИТИКА ИСТОРИЯ

неприкосновенный  
запас

Модерность,  
идеология  
и культура  
в России  
и Советском  
Союзе



Библиотека журнала «Неприкосновенный запас»

Майкл Дэвид-Фокс

**Пересекая границы. Модерность,  
идеология и культура в  
России и Советском Союзе**

«НЛО»

УДК [008(47+57)"6"]:303.446.4  
ББК 63.3(2)6г

**Дэвид-Фокс М.**

Пересекая границы. Модерность, идеология и культура в России и Советском Союзе / М. Дэвид-Фокс — «НЛО», — (Библиотека журнала «Неприкосновенный запас»)

ISBN 978-5-4448-1384-3

Был ли советский строй уникальным явлением для XX века или его революционная новизна сильно преувеличена? Был ли СССР, несмотря на все эксцессы коммунистического эксперимента, лишь частным примером современного государства? Американский историк Майкл Дэвид-Фокс стремится уйти от противопоставления «особого пути» Советского Союза и общей модерности. Автор рассматривает историю СССР во всем ее многообразии, показывая, как советская система переработала наследие Российской империи и развилась в сложную интеллигентско-элитарную форму модерности с присущим ей набором новых практик. Майкл Дэвид-Фокс — историк, профессор Джорджтаунского университета в Вашингтоне, научный руководитель Международного центра истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий Высшей школы экономики, редактор-основатель журнала «Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History».

УДК [008(47+57)"6"]:303.446.4

ББК 63.3(2)6г

ISBN 978-5-4448-1384-3

© Дэвид-Фокс М.

© НЛО

## Содержание

Благодарности	5
ВВЕДЕНИЕ. ПРОКЛАДЫВАЯ ПУТЬ	7
ЧАСТЬ I.	24
1. МНОЖЕСТВЕННЫЕ МОДЕРНОСТИ VS. НЕОТРАДИЦИОНАЛИЗМ	26
ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ СОВЕТСКОЙ МОДЕРНОСТИ	27
О НЕОТРАДИЦИОНАЛИЗМЕ И ТРАДИЦИИ	39
ПЕРЕКЛИЧКИ И СХОДСТВА	44
ОТГОЛОСКИ И ПЕРЕСТАНОВКИ К НОВОЙ ДИСКУССИИ	46
53	
2. ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ, МАССЫ И ЗАПАД	55
ОСОБЕННОСТИ ИНТЕЛЛИГЕНТСКО-ЭТАТИСТСКОЙ МОДЕРНОСТИ	56
SATTELZEIT В РОССИИ: МОДЕРНОСТЬ УСКОРЕННОГО И СКАЧКООБРАЗНОГО РАЗВИТИЯ	59
СЛУЖИТЬ МАССАМ И ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ ИХ	62
ОТ РЕВОЛЮЦИОННОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ К ВСЕОБЩЕМУ ЕДИНООБРАЗИЮ	65
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ И ОТКАЗ ОТ ДЕЛЕНИЯ НА ВЫСОКОЕ И НИЗКОЕ	70
Конец ознакомительного фрагмента.	73

# Майкл Дэвид-Фокс

## Пересекая границы: модерность, идеология и культура в России и Советском Союзе

### Благодарности

Поскольку работа над многими из этих эссе продолжалась долгое время, представляется попросту невозможным перечислить все накопленные мной за этот период долги. Но я хочу начать с одного давнего события, которое во многом оказалось решающим. В 1996 году я в течение семестра занимался научной работой в Шведской коллегии специальных исследований (SCAS), когда там находился покойный израильский социолог Шмуэль Эйзенштадт. Эйзенштадт, ушедший из жизни в 2010 году, на тот момент совместно с Бьорном Уиттроком и другими занимался тем, что позже вылилось в работу о множественных модерностях. Читатели этой книги заметят, насколько этот опыт впоследствии наложил отпечаток на мои размышления о российской и советской модерности. В Упсале началось также мое продолжительное знакомство с Дьёрдем Петери, беседы с которым о государственном социализме и различных попытках сопоставления я высоко ценил многие годы. Однако замысел этой книги сложился и первоначальная работа над ней началась гораздо позже, в 2010 году, когда я работал в Центре исторических исследований Дэвиса в Принстоне. Там мне особенно помогло присутствие Майкла Гордина, Стивена Коткина и Дэниэла Роджерса.

За ценные комментарии и предложения, касающиеся отдельных глав, я благодарен многим коллегам, в том числе Мартину Байссвенгеру, Стиву Гранту, Маше Кирасировой, Стефани Миддендорф, Яну Пламперу и Эрику ван Ри. Питер Холквист, открывший многие из обсуждаемых в этой книге вопросов, любезно поделился своими соображениями по поводу второй и третьей глав. Дэвид Л. Хоффман читал в рукописи объемные отрывки, и я признателен ему за его ценный вклад. Элизабет Папазиан подарила мне подробные и заставляющие задуматься замечания о книге, повлекшие за собой существенные переработки, даже когда я не мог ответить на все ее пытливые вопросы. Я представил третью главу так называемому «малому кружку» в Европейском читальном зале Библиотеки Конгресса, и мне хотелось бы выразить благодарность Сюзан Смит, Адибу Халиду, а также моим студентам Мишель Мелтон и Владимиру Рыжковскому, принимавшим участие в дискуссии. Марк Стерн, талантливый тогда еще студент Джорджтаунского университета, вызвался помогать мне в моих исследованиях на протяжении лета. Кроме того, я получил существенную пользу, представив вторую главу в Университете штата Мичиган, а третью – в Мичиганском университете. Я признателен Льюису Зигельбауму, Рональду Григору Суни и Джеффри Вейдлингеру за гостеприимство, Джеймсу Медору – как вдумчивому респонденту в Анн-Арборе, а также всем, кто участвовал в обсуждениях.

С 2011 года, когда я активно работал над этой книгой, я обосновался в товарищеском и вдохновляющем на новые мысли кругу кафедры истории и школы дипломатических отношений Джорджтаунского университета. В апреле 2014 года я представил вторую главу книги на преподавательском семинаре кафедры истории Джорджтауна. Благодарю коллег за их комментарии, в особенности Дэвида Голдфранка, Авеля Рошвальда, Джордана Сэнда и Джеймса Шедела. Зарождению или развитию некоторых моих идей способствовал коллоквиум для аспирантов Джорджтауна «Основные подходы к российской и советской истории», и мне хочется громко заявить о своей признательности каждому из моих нынешних аспирантов, занимающихся российской и советской политикой и культурой: Саймону Белоковски, Кэрол Докэм,

Эбби Холкэмп, Исабель Каплан, Аните Кондояниди, Тому Лойду, Эрине Мегоуэн, Джонатану Сикотту и Владимиру Рыжковскому.

Я также в долгу перед своими коллегами из московской Высшей школы экономики, с которыми тесно сотрудничаю, – каждого из них можно назвать образцом глобально ориентированного, глубокого и готового к совместной работе исследователя: это Олег Будницкий, Олег Хлевнюк и Людмила Новикова. Я завершил эту книгу, будучи научным руководителем в Международном центре истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Книга подготовлена в ходе проведения работы в рамках Программы фундаментальных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и с использованием средств субсидии в рамках государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации «5–100».

Глава 1 претерпела существенные изменения по сравнению с публикацией: *Multiple Modernities vs. Neo-Traditionalism: On Recent Debates in Russian and Soviet History* // *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*. Vol. 55. No. 4. 2006. P. 535–555.

Глава 3 ранее не публиковалась, однако включает в себя переработанный фрагмент статьи: *Soviet Revisionists and Holocaust Deniers (In Response to Martin Malia)* // *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History*. Vol. 5. No. 1. 2004. P. 81–106.

Глава 4 была серьезно переработана по сравнению со статьей: *What Is Cultural Revolution?* // *Russian Review*. Vol. 58. No. 2. 1999. P. 181–201.

Глава 5 представляет собой незначительно измененный текст публикации: *Symbiosis to Synthesis: The Communist Academy and the Bolshevization of the Russian Academy of Sciences, 1918–1929* // *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*. Vol. 46. No. 2. 1998. P. 219–243.

Глава 6 ранее не публиковалась, но содержит некоторые переработанные фрагменты статьи: *The 'Heroic Life' of a Friend of Stalinism: Romain Rolland and Soviet Culture* // *Slavonica*. Vol. 11. No. 1. 2005. P. 3–29.

## ВВЕДЕНИЕ. ПРОКЛАДЫВАЯ ПУТЬ

### СОВЕТСКИЙ СТРОЙ МЕЖДУ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬЮ И ОБЩЕЙ МОДЕРНОСТЬЮ

Во что бы ни верили революционеры, они склонны полагать, что переворачивают совершенно новую страницу истории. Когда революционные правители утверждают новый порядок, они все более настойчиво подчеркивают его уникальность. Большевистская революция, по сути, дала импульс для растянувшихся на десятилетия глубоких изменений; первоначально ей сопутствовала волна иконоборчества, насилия и утопизма, которые подпитывали представление о советской исключительности как в СССР, так и за рубежом. Даже после того, как в результате сталинской «второй революции» сформировался гибрид, сочетающий в себе радикальные перемены и то, что можно было бы назвать статично-консервативными элементами, советская идеология продолжала провозглашать неповторимость и самобытность коммунизма – утверждение, игравшее значимую роль в пропаганде, предназначенной как для советской, так и для иностранной аудитории. Дополнительный вес ему придавал ряд обстоятельств: обособленность сталинского СССР от «капиталистического» мира, новизна пятилеток и отмены частной собственности, политической системы и партийного государственного устройства, а также радикально изменившиеся культура и общество. Эти особенности советского строя без труда замечали даже те, кто мог разглядеть за бесконечными разговорами о «новом мире» и новой исторической эпохе начало первого в мире социалистического государства.

Признание новизны коммунизма, однако, было обусловлено не только революционной природой этого начинания. Его укоренению внутри страны и за ее пределами способствовало наложение советских притязаний на оживленные споры XIX столетия о русской национальной идентичности, в которых уже усиленно подчеркивалась непохожесть России. Сами эти притязания возникли как реакция на авторитетную европейскую традицию, с позиций которой Россия воспринималась как отсталая и варварская страна<sup>1</sup>.

Еще не улеглась пыль после первых революционных беспорядков, как началась длительная попытка противодействия, направленная на то, чтобы развеять или опровергнуть революционные претензии на уникальность. На самом деле такие попытки имели место задолго до прихода революции в Россию. Как воскликнул Алексис де Токвиль в своей книге «Старый порядок и революция» (1856): «Действительно ли это событие [революция] столь необыкновенно, как оно казалось его современникам? Настолько ли оно неслыханно, настолько ли возмущало общественное спокойствие и было настолько обновляющим, как они предполагали?». Делая знаменитый вывод о том, что французская административная система пережила свержение тирана и в результате стала лишь еще более централизованной, Токвиль отозвался об этом новом режиме так: «Предприятие казалось необычайно дерзким, а успех его был неслы-

---

<sup>1</sup> Ключевые работы на эту тему: *Poe M.T.* 'A People Born to Slavery': Russia in Early Modern Ethnography, 1476–1748. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2000; *Riber A.J.* Persistent Factors in Russian Foreign Policy: An Interpretive Essay // *Imperial Russian Foreign Policy* / ed. Hugh Ragsdale. Cambridge: Cambridge University Press, 1993. P. 315–359; *Wolff L.* Inventing Eastern Europe: The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment. Stanford, CA: Stanford University Press, 1994; *Kelly C.* Refining Russia: Advice Literature, Polite Culture, and Gender from Catherine to Yeltsin. Oxford: Oxford University Press, 2001; *Neumann I.B.* Russia and the Idea of Europe: A Study in Identity and International Relations. London: Routledge, 1996; *Neumann I.B.* Uses of the Other: The 'East' in European Identity Formation. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1999; *Naarden B.* Socialist Europe and Revolutionary Russia: Perception and Prejudice, 1848–1923. Cambridge: Cambridge University Press, 1992; о революционном иконоборчестве см. также: *Stites R.* Revolutionary Dreams: Utopian Vision and Experimental Life in the Russian Revolution. Oxford, Oxford University Press, 1989.

ханним, ибо люди думали только о дне сегодняшнем, забыв о том, что им доводилось видеть раньше»<sup>2</sup>.

Однако в случае советского строя, в противоположность относящемуся к Франции XVIII века суждению Токвиля, мало кто из критиков в самой стране или за границей попросту забыл о прошлом России. Часто те, кто стремился оспорить хвастливые заявления большевиков о заре новой эпохи, говорили, что большевизм многое унаследовал от самодержавия. Это было характерно и для первых политических противников большевизма на его родине, и для западных наблюдателей того и более позднего времени, ориентирующихся в дискуссии об отсталости России. Сталинская революция конца 1920-х годов значительно расширила область происходивших перемен, которые теперь сочетались с репрессивной социальной инженерией, террором и «воспитательным принуждением»<sup>3</sup>. В то же время она воскресила некоторых героев дореволюционного российского прошлого, отказалась от раннего советского эгалитаризма как «уравниловки», а в эстетическом и культурном плане, в особенности начиная с середины 1930-х годов, сформировала мироощущение, казавшееся некоторым критикам из радикалов и интеллигенции безнадежно мелкобуржуазным<sup>4</sup>. Все это делало споры о революционной новизне еще более ожесточенными. Одним из объяснений того факта, что к коммунизму после 1930-х годов так охотно применяли понятие тоталитаризма, послужило то, что это понятие опровергало высказывания режима о себе самом, не обращаясь к наследию прошлого, а помещая коммунистический строй по одну сторону баррикад с его заклятым врагом – фашистской Германией<sup>5</sup>.

Научные исследования советской истории, в особенности в США, но также и в странах Европы, зародились в переходный – от межвоенного к послевоенному времени – период, вобрав в себя споры современников и политические настроения русских эмигрантов. Поэтому неудивительно, что перед исследователями, которые занимались этой темой, с самого начала возникала та же базовая дилемма: как примирить новизну и уникальность советской системы с присущими ей противоположными чертами – преимуществом по отношению к прошлому, универсальностью исторических процессов и сходством с другими странами. Когда ученым приходится оперировать новыми и меняющимися терминами, обращаясь к одним и тем же проблемам, поднимаемым участниками и наблюдателями исторического процесса, особенно если контекст в значительной степени политизирован, это всегда создает дополнительные сложности и препятствия для самосознания на практике.

Каждое поколение исследователей российской и советской истории находило собственный путь между двумя крайностями – утверждением советской исключительности и преуменьшением либо отрицанием коренного отличия. Противоположностью уникальности было приравнивание советского строя к другим обществам, которое я здесь для удобства называю

---

<sup>2</sup> Токвиль А. де. Старый порядок и революция / Пер. с фр. М. Федоровой. М.: Моск. философский фонд, 1997. С. 12, 165.

<sup>3</sup> О термине «воспитательное принуждение» см.: Gerlach Ch., Werth N. State Violence – Violent Societies // Totalitarianism: Stalinism and Nazism Compared / ed. M. Geyer, Sh. Fitzpatrick. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. P. 175–176.

<sup>4</sup> Среди наиболее влиятельных работ того времени об этих изменениях: Timasheff N. The Great Retreat: The Growth and Decline of Communism in Russia. New York: E.P. Dutton, 1946. Один из самых авторитетных научных подходов представлен Верой С. Данэм: Dunham V.S. In Stalin's Time: Middle Class Values in Soviet Fiction. Cambridge: Cambridge University Press, 1976. Понятие «уравниловка» последовательно вводилось в 1920-е годы представителями профсоюзов в контексте попыток добиться равной для всех зарплаты, однако Сталин изначально отверг его в своей речи 1931 года «Новая обстановка – новые задачи хозяйственного строительства», говоря о сдельной заработной плате и других факторах, обуславливающих разницу в оплате труда. См.: Goldman W.Z. Women at the Gates: Gender and Industry in Stalin's Russia. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. P. 246; Hoffmann D.L. Peasant Metropolis: Social Identities in Moscow, 1929–1941. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1994. P. 94.

<sup>5</sup> Классическую историю концепции тоталитаризма и обзор многолетней дискуссии вокруг нее можно найти в книге: Gleason A. Totalitarianism: The Inner History of the Cold War. New York: Oxford University Press, 1995. О более раннем употреблении этого термина см. также: Bongiovanni B. Totalitarianism: The Word and the Thing // Journal of Modern European History. 2005. Vol. 3. № 1. P. 5–17.

родовой, или «общей», модерностью. Разумеется, сравнивать советский коммунизм с происходившими где-то еще более обширными процессами можно по-разному. В некоторых случаях отрицание исключительности рассматривалось как нормализация, при которой игнорировались или сводились к минимуму отличительные черты прежде всего сталинского периода, в том числе и масштаб террора. В других случаях Советский Союз могли сравнивать с Западом или странами «третьего мира». Однако по мере развития современного изучения России и Советского Союза в послевоенные десятилетия наиболее искушенные исследователи отмечают элементы как исключительности, так и общности.

Так, представители первого послевоенного поколения историков, социологов и социальных теоретиков были не просто сторонниками уникальности коммунизма или тоталитаризма. Они также высказывали авторитетные гипотезы о советской модернизации и индустриальном обществе<sup>6</sup>. Позже исследователи, считавшие нужным пересмотреть эту позицию, а также поколение социальных историков были склонны – в силу специфики своего профессионального взгляда и установки на поиск прежде всего социального импульса, а не отслеживания того, как развивалась идея тоталитаризма, – находить удовлетворение в сложной картине исторических деталей. Но они нередко разрабатывали социологические концепции, вводимые их собратьями-советологами в других дисциплинах и тяготевшие к более универсалистскому и ориентированному на сравнение подходу<sup>7</sup>. Кажущееся укрепление советского строя и окончание массовых репрессий после Сталина поставило вопросы о судьбе радикального утопизма и сближении с развитыми странами Запада. Эти проблемы резко подчеркиваются нарочито парадоксальными словосочетаниями, которые мы встречаем в названиях книг: «обыкновенный сталинизм», «нормальный тоталитаризм»<sup>8</sup>.

Конец коммунизма не привел к согласию, а в каком-то плане и обострил сохраняющийся конфликт между исключительностью и общей модерностью. Мартин Малиа, чьи основные работы вышли в 1990-е годы, но были написаны десятилетиями ранее, пошел по пути русских эмигрантов-либералов, облекших новую теорию в убедительную, современную научную формулировку. Он поместил Российскую империю прямо в европейский континуум, подорванный сюрреалистичной идеократией коммунизма<sup>9</sup>. Переход от общности с Европой к советской идеологической уникальности, который постулировал Малиа, вызвал критику со стороны Ричарда Пайпса, на протяжении многих десятилетий указывавшего на глубинную преемственность советского полицейского государства по отношению к царскому патримониализму и позднеимперскому периоду<sup>10</sup>. Но в этот спор оказались вовлечены не только Малиа и Пайпс – или, говоря шире, тенденция винить либо марксизм, либо российскую традицию в катастрофе

---

<sup>6</sup> См. в особенности: *Engerman D.C. Know Your Enemy: The Rise and Fall of America's Soviet Experts*. New York: Oxford University Press, 2009. Chap. 2.

<sup>7</sup> Самая известная из них – концепция социальной мобильности, см.: *Fitzpatrick Sh. Education and Social Mobility in the Soviet Union*. Cambridge: Cambridge University Press, 1979; см. также: *Engerman D.C. The Soviet Union as a Modern Society // Know Your Enemy*. Chap. 7.

<sup>8</sup> *Shlapentokh V. A Normal Totalitarian Society: The Soviet Union – How it Functioned and How It Collapsed*. Armonk, NY: M.E. Sharpe, 2001; *Tiesky R. Ordinary Stalinism: Democratic Centralism and the Question of Communist Development*. Boston: Allen and Unwin, 1985. Исторический анализ книги Николая Тимашева «Великое отступление» (The Great Retreat (1946)), ставшей классикой у советских историков, исследующих отношение позднего сталинизма к революции, см. в статье: *Brooks J. Declassifying a 'Classic' // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History* [далее – *Kritika*]. 2004. Vol. 5. № 4. P. 709–719, в рамках дискуссии из четырех статей «Stalinism and the „Great Retreat“».

<sup>9</sup> *Malia M. The Soviet Tragedy: A History of Socialism in Russia, 1917–1991*. New York: Free Press, 1994; *Malia M. Russia under Western Eyes: From the Bronze Horseman to the Lenin Mausoleum*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999. См. также: *Evtuhov C., Kotkin S. (eds.). The Cultural Gradient: The Transmission of Ideas in Europe, 1789–1991*. Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 2003.

<sup>10</sup> *Pipes R. Russia under the Old Regime*. New York: Scribner's, 1974; *Pipes R. The Russian Revolution*. New York: Knopf, 1990; *Pipes R. East is East // The New Republic*. 1999. April 26 – May 3. URL: [www.misterdann.com/eurareastiseat.htm](http://www.misterdann.com/eurareastiseat.htm) (рецензия на: *Malia M. Russia under Western Eyes*).

революционного террора<sup>11</sup>. Среди специалистов по истории Советского Союза дискуссия о концепции советской модерности также началась в 1990-е годы. В ее центре также оказались связи СССР с прошлым России и степень несходства советской системы с либеральными и модерными индустриальными государствами<sup>12</sup>.

С момента крушения коммунизма в ходе обсуждения революционного и межвоенного периодов велись ожесточенные споры о советской исключительности в противовес общей модерности. Авторам растущего количества книг о постсталинской эпохе понятие советской модерности не показалось таким уж противоречивым, по крайней мере, они не говорили об этом явно<sup>13</sup>. Однако если исследователи, изучающие послевоенный период истории СССР – а их сегодня все больше, – хотят серьезно проанализировать события 1991 года, они сталкиваются с той же проблемой. Иначе говоря, понимание российской и советской истории до сих пор не ушло от представления о ее исключительности и бинарных оппозиций, сквозь призму которых эта история рассматривается: преемственность и ее нарушение, частное и универсальное, уникальность и сопоставимость. Хотя сохраняющаяся от эпохи к эпохе значимость этой проблемы действительно кажется отличительной чертой российской истории, научные и политические дебаты вокруг немецкого *Sonderweg* («особого пути») и американского эксепционализма свидетельствуют о том, что история Россия в этом плане не уникальна. Национальная история почти любой неевропейской страны сталкивается со схожими теоретическими проблемами, когда речь идет об эпохе поворота к Западу и модернизации. В этом отношении ранняя европеизация России начиная с Петра Великого и ее попытка найти альтернативную дорогу после 1917 года указывают на ее нетипичность, но одновременно с новой силой поднимают вопрос о ее включенности в определенную парадигму.

В своей книге «Пересекая границы» я предлагаю третий путь – срединный, то есть движение к радикальному центру мимо враждебных друг другу противоположностей, сформировавших современные посвященные России исследования. В ней предложены теоретический и эмпирический методы, позволяющие совместить изучение частных с установкой на сопоставление. Этой цели служит ряд эссе, вобравших в себя работу над темами, которыми я занимался значительную часть последних двадцати лет<sup>14</sup>. У книги три составляющие, которые пересекаются с тремя ее частями, но не тождественны им. Первая составляющая – это теория и концептуализация основных проблем исторической траектории России / СССР, включая проблемы модерности и идеологии; вторая – изучение культуры и политики раннего советского периода по архивам и первоисточникам; третья – историография и более общая история самой дисциплины. Хотя три эти компонента одновременно присутствуют во многих главах, книга так же делится на три части, в которых рассматриваются, соответственно, проблемы модерности, раннего советского периода и сталинизма и, наконец, транснациональной истории. Каждую из глав можно читать как самостоятельный текст, но при этом они содержат отсылки друг к

<sup>11</sup> Как отметил Питер Холквист в своей статье: *Holquist P. Violent Russia, Deadly Marxism? Russia in the Epoch of Violence, 1905–21 // Kritika. 2003. Vol. 4. № 3. P. 627–652.*

<sup>12</sup> Одна полноценная сопоставительная работа, родившаяся из этой дискуссии: *Hoffmann D.L. Cultivating the Masses: Modern State Practices and Soviet Socialism, 1914–1939. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2011.*

<sup>13</sup> См., например: *Fürst J. (ed.). Late Stalinist Russia: Society between Reconstruction and Reinvention. London: Routledge, 2006; Ilić M., Smith J. (eds.). Soviet State and Society under Nikita Khrushchev. London: Routledge, 2009; Repenser le Dégel: Cahiers du monde russe. 2006. Vol. 47. № 1–2; Jones P. (ed.). The Dilemmas of De-Stalinization: Negotiating Cultural and Social Change in the Khrushchev Era. London: Routledge, 2006; Crowley D., Reid S.E. (eds.). Style and Socialism: Modernity and Material Culture in Post-War Eastern Europe. Oxford: Berg, 2000; а также историографический обзор Мириам Добсон: *Dobson M. The Post-Stalin Era: De-Stalinization, Daily Life, and Dissent // Kritika. 2011. Vol. 12. № 4. P. 905–924.**

<sup>14</sup> Две из представленных здесь глав (главы 2 и 7) новые; две другие (главы 3 и 6) ранее не публиковались, однако включают в себя один переработанный фрагмент (в первом случае) и отдельные отрывки (во втором случае) из уже изданных статей. Еще две (главы 1 и 4) выходили в более ранней редакции, однако подверглись существенной переработке в соответствии с моим нынешним видением проблемы и современным состоянием дисциплины. Текст одной из глав (главы 5) лишь немного отличается от своей изначальной формы.

другу и следуют в определенном порядке. В этом введении последовательно обозначены темы, затронутые в каждой главе, и показана связь между несоизмеримыми элементами книги.

В теоретических эссе о российской и советской модерности я прежде всего обращаюсь к ключевому вопросу единичности и универсализма, пытаюсь обрисовать основные дилеммы этого спора и проложить собственный срединный путь. В главах, материалом для которых послужило изучение архивов и первоисточников, наоборот, исследуются главные отличительные черты советского строя: идеология, культура и институциональные структуры партийной государственности. Это подробное рассмотрение процессов формирования и эволюции советской системы – то есть ее непохожести – необходимо, чтобы найти средний путь между Сциллой исключительности и Харибдой общей модерности.

В центре двух глав третьей части, посвященной транснациональной истории, – точки зрения и реакции зарубежных современников, находящихся по ту сторону культурных и политических границ. Как мне кажется, транснациональная история в контексте Советского Союза может придать новое интригующее измерение любым размышлениям о самобытности советского строя и открыть новые подходы к «национальной» (в данном случае советской) истории. Взаимные заимствования и циркуляция идей между разными странами являлись неотъемлемым свойством современной теории и практики (особенно интересная тема для исследования, которая бы выиграла от более полноценного анализа, чем возможный здесь). Кроме того, поездки за рубеж и взаимодействие, подразумевавшие вовлечение живого опыта индивидуальных акторов, дает возможность для скрупулезного исследования, которые бы показало, что внешним наблюдателям казалось непривычным, что – общепринятым, а что воспринималось искаженно. Вдобавок значительный объем историографического материала в этой книге демонстрирует, как ключевые проблемы вновь вышли на поверхность и эволюционировали со временем, по мере развития исследований России.

В чем противоречие идеи советской модерности? Почему понятие советской модерности оказалось одним из наиболее спорных для исследователей в постсоветские десятилетия?

На первый, более поверхностный взгляд, если смотреть на основные черты Советского Союза, в нем действительно происходили процессы, прочно ассоциирующиеся с модернизацией, такие как урбанизация, индустриализация, кампании, нацеленные на всеобщую грамотность и образование, а также развитие науки и техники. Эти усилия принесли еще больше плодов в послевоенный период, и, может быть, поэтому тем, кто изучает поздний социализм, проблема модерности в меньшей степени казалась заслуживающей обсуждения и исследования<sup>15</sup>. У СССР была космическая и ядерная программа. Карательные операции в нем проводились настолько централизованно, что предшествующему монархическому режиму нечего было даже думать с ним сравниться. Элементы, в которых часто усматривают связь с царистским прошлым, такие как культ Сталина, ассоциируемый с благоговением перед царем, имели более обширную историю в современной политике и пропаганде<sup>16</sup>. Джеймс Скотт окрестил эту «безжалостную рациональную инженерию» общества и природы «высоким модернизмом» сильного централизованного государства, явлением, несводимым к какой-либо конкретной идеологии или политической системе<sup>17</sup>. Сталинский Советский Союз, с его государственной

---

<sup>15</sup> Например, Алексей Юрчак в своей знаменитой книге «Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение» утверждает просто: «Как и западная демократия, советский социализм был частью модерности»: *Yurchak A. Everything Was Forever, until It Was No More: The Last Soviet Generation*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2006. P. 10. Но см. более подробное исследование в контексте Восточной Германии: *Pence K., Betts P. (eds.). Socialist Modern: East German Everyday Culture and Politics*. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2008.

<sup>16</sup> О возможных сопоставлениях различных культов лидера в Новое время начиная с Наполеона III во Франции см.: *Plamper J. The Stalin Cult: A Study in the Alchemy of Power*. New Haven, CT: Yale University Press, 2012; о возможных сравнениях в рамках советской культурной дипломатии и пропаганды см.: *David-Fox M. Showcasing the Great Experiment: Cultural Diplomacy and Western Visitors to Soviet Union, 1921–1941*. New York: Oxford University Press, 2011. Chap. 1.

<sup>17</sup> *Scott J.C. Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*. New Haven, CT: Yale

экономикой, запретом частной собственности, взятием под контроль независимых учреждений, а также всепроникающей и беспощадной, хотя при этом вопиюще бесполезной и неповоротливой бюрократией, являл собой, возможно, самую навязчивую форму государственного контроля и авторитарной идеологии «высокого модернизма» из всех известных. Хотя можно, разумеется, преувеличивать действенность и охват сталинизма, он стал тем, что Моше Левин называет «сверхгосударством»<sup>18</sup>.

Но эти наблюдения не ставят точку. Все эти черты современного государства не просто развивались весьма характерным, часто уникальным образом; помимо этого, Советский Союз был лишен важных особенностей современных индустриальных государств Европы и Запада, территории, которая исторически задавала современные тенденции. Конечно, концепция множественных модерностей важна для того, чтобы сместить фокус с освященного веками сравнения России и Европы на другие части планеты, и изучение многих значимых взаимодействий СССР с развивающимися странами становится все более существенным полем для исследований<sup>19</sup>. Важно также не забывать, что влияние не было односторонним и что Россия и СССР сами участвовали в формировании современного мира<sup>20</sup>. Однако фактом остается то, что ряд явлений, изначально тесно связанных с модерностью в западных странах, а затем распространившихся по всему миру, таких как рыночная экономика или массовое потребление, в советской действительности отсутствовали, по крайней мере в легко опознаваемой форме<sup>21</sup>. Черты, которые часто ассоциируются с традиционным или монархическим обществом, такие как высокая степень иерархичности социальных отношений и роль личных связей, в 1930-е годы, как многие отмечали, проступили с большей отчетливостью<sup>22</sup>. Сам я полагаю, что эти личные связи переплетались с советской системой, по мере того как государственная бюрократия росла в масштабах и увеличивалась ее способность к радикальному вмешательству, но что, невзирая на это обстоятельство, не стоит обесценивать значимость ни институциональных структур, ни идеологии<sup>23</sup>. Фактом остается то, что львиной долей экономики всего Союза управляла при Сталине тайная полиция, которая следила за по сути рабским трудом обитателей ГУЛАГа. Те, кто, подобно Александру Эткинду, яростно оспаривает само понятие советской модерности, могут сослаться на значительную часть государственной экономики, построенную на миллионах людей, принужденных орудовать лопатами и другими примитивными инструментами в «исправительно-трудовых» лагерях, из которых никогда не выходил Новый Человек – «может быть, даже», говоря словами Эткинда, «один-единственный»<sup>24</sup>. Сельское население было привязано к колхозам и осознавало связь с прошлым, используя аббревиатуру Всесоюзной коммунистической партии (ВКП) для обозначения «второго крепостного права». Коммунистиче-

University Press, 1998. P. 88.

<sup>18</sup> *Lewin M.* Russia – USSR – Russia: The Drive and Drift of a Superstate. New York: New Press, 1995.

<sup>19</sup> См., например: *Engerman D.C.* The Second World's Third World // *Kritika*. 2011. Vol. 12. № 1. P. 183–211.

<sup>20</sup> См. обширный и увлекательный, хотя и обобщенный обзор: *Marks S.G.* How Russia Shaped the Modern World: From Art to Anti-Semitism, Ballet to Bolshevism. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2004. О модели, предполагающей скорее не переход, а циркуляцию, см.: *Circulation of Knowledge and the Human Sciences in Russia // Kritika*. 2008. Vol. 9. № 1 (spec. iss.). Инновации и влияние СССР были ключевой темой моей собственной работы о культурной дипломатии (*David-Fox M.* Showcasing the Great Experiment).

<sup>21</sup> О рынках остаточной продукции даже при сталинизме см.: *Hessler J.* A Social History of Soviet Trade: Trade Policy, Retail Practices, and Consumption, 1917–1953. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2004. О сходствах и различиях между советской моделью розничной торговли и потребления и «ранней» историей потребления в западных странах см.: *Randall A.E.* The Soviet Dream World of Retail Trade and Consumption in 1930s. London: Palgrave Macmillan, 2008. О социальном обеспечении, медицине и некоторых других предметах сопоставления с точки зрения политики государственного вмешательства см.: *Hoffmann D.L.* Cultivating the Masses.

<sup>22</sup> Возможно, даже отчетливее, чем когда-либо, – см.: *Fitzpatrick Sh.* Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times. Soviet Russia in 1930s. Oxford: Oxford University Press, 1999.

<sup>23</sup> *David-Fox M.* Showcasing the Great Experiment. P. 89–97.

<sup>24</sup> См., например: *Etkind A.* Soviet Subjectivity: Torture for the Sake of Salvation? // *Kritika*. 2005. Vol. 6. № 1. P. 171–186; spec. P. 174–175, цитата: P. 177.

ская экономика, несопоставимая с экономикой развитых индустриальных держав, возникшие при сталинизме социальные иерархии и политическая диктатура, опирающаяся на масштабный террор, – все эти особенности рассматриваются как несовместимые с модерностью и противоречащие ей. Важно держать в уме эти сложности, связанные с идеей советской модерности, если мы проблематизируем понятие традиции.

Другое немаловажное возражение основано на том, что сами советские люди на самом деле не использовали понятия модерности. Русские слова «современный» и «современность» могут обладать схожими коннотациями, но без той концептуальной и социологической нагрузки, которую приобрел в постсоветскую эпоху заимствованный неологизм «модерность». Даже словосочетание 'modern period' на русский переводится как «новая история». Вместо того чтобы говорить о «современном» (модерном), участники советского исторического процесса говорили о социализме как новом этапе истории. Фредерик Купер, который в своей критике концепции модерности сближается с другими, подчеркивая «понятийную путаницу», «сбивающую с толку», считает, что исследователям «не стоит пытаться найти чуть более подходящее определение, чтобы говорить о модерности яснее». Вместо этого он предлагает им «прислушаться к тому, что говорится в мире. Если они услышат слово „модерность“, им следует выяснить, как и почему оно употребляется; иначе классификация политического дискурса как современного, антимодерного либо постмодерного или разделение на „нашу“ и „их“ модерность приведут скорее к путанице, чем к открытию чего-то нового»<sup>25</sup>.

Это ценное указание, но если мы как историки ничего не «слышим» о концепции советской модерности как таковой, должны ли мы отказываться принимать ее во внимание? Я бы хотел отметить, что идеи, стоящие за действительными высказываниями советских акторов (о социализме как следующей, более высокой ступени исторического развития), уже достаточно долго были предметом обсуждения. Изменить угол зрения могло бы оказаться полезным. Также не следует забывать о том, что как исследователи мы едва ли можем ограничить себя понятийным аппаратом персонажей наших исторических исследований, даже если бы нам этого хотелось.

Остаются вопросы: были ли все вышеперечисленные черты советской системы элементами модерности или свидетельствовали о ее отсутствии? Следует ли обсуждать их, совсем не прибегая к сомнительно неопределенному понятию модерности? Или их можно включить в исследование альтернативной – и потерпевшей полное крушение – формы советской или коммунистической модерности? Появление таких вопросов закономерно и полезно, и стоит попробовать их обсудить.

Несоразмерности в весьма поверхностном подведении баланса, представленном выше, призваны с максимальной резкостью очертить проблему советской модерности. Их иногда устраняли, ссылаясь на то, что современные программы, планы или идеологии не были полностью реализованы или на практике превратились во что-то другое. Вспомним часто цитируемые слова Терри Мартина: «Модернизация – это теория советских планов; неотрадиционализм – теория их незапланированных последствий»<sup>26</sup>. Но понятийные проблемы усложняются, если учитывать, что концепция модерности (более гибкая по сравнению с модернизацией) – одна из самых неуловимых и обширных в гуманитарных науках. К тому же золотой стандарт модерности вырабатывался в Европе и Северной Америке на протяжении долгого времени, со многими существенными национальными особенностями; и он тоже не реализовал себя полностью, особенно на ранних этапах. Дискуссия о модерности, опять же в отличие от ранних социологических работ о модернизации, изобилует не измеримыми процессами, а метафизи-

---

<sup>25</sup> Cooper F. *Modernity // Colonialism in Question: Theory, Knowledge, History*. Berkeley: University of California Press, 2005.

<sup>26</sup> Martin T. *Modernization of Neo-Traditionalism? Ascribed Nationality and Soviet Primordialism // Hoffmann D., Kotsonis Y. (eds.). Russian Modernity: Politics, Knowledge, Practices*. New York: Macmillan, 2000. P. 161–184; цитата: P. 176.

ческими сдвигами, такими как новые концепции времени, способность осмыслить различные типы преобразований или взаимообратная связь в отношениях между знаниями и социополитической системой. С учетом того, что это концептуальная проблема, которая не может быть решена на уровне исчислимых данных, любой попытке подвести некий баланс в отношении России и СССР будет сопутствовать непоследовательный и вводящий в заблуждение анализ.

Одно из легких решений заключается в том, чтобы игнорировать проблему модерности в этом контексте или избегать ее, критиковать ее посылки или сложности либо сосредоточиться на других вопросах. На самом деле многие специалисты в данной области пришли именно к такому выводу относительно проблемы российской / советской модерности – возможно, в ответ на ту форму, какую споры о российской и советской модерности приняли в 1990-е годы. Я также занял критическую позицию в отношении дискуссии о модерности в противоположность неотрадиционализму, которая способствовала обострению споров, но одновременно завела в некоторый тупик в начале 2000-х годов, оставив при этом заметные следы. В то же время этот ключевой вопрос представляет собой последний поворот в более обширном противополжении исключительности и общей модерности. Кто-то на свой страх и риск прячет его куда подальше, но лишь для того, чтобы вновь обнаружить его скрытое или неявное присутствие. На мой взгляд, главный теоретический сдвиг – воспринимать модерность скорее как точку зрения, эвристический инструмент, чем как проблему, которую можно решить с помощью какого-либо искусственно навязанного тезиса или эмпирического прорыва. Это едва ли единственная такая точка зрения, доступная на сегодняшний день, но она приобретает значимость, будучи ключевой концепцией многих гуманитарных дисциплин и многих областей исторической науки. По мере того, как изучение России сохраняет постсоветскую тенденцию, обнаруживая свою значимость и связь с другими областями знаний, вовлеченность в спор о модерности становится важным мостиком к более обширному в сопоставительном плане и в плане международного охвата диалогу с другими исследовательскими направлениями и дисциплинами.

В таком ключе я хотел бы представить первую главу, в которой рассматриваются научные дискуссии о российском и советском модернизме и модерности постсоветского периода. В ней утверждается, что «первое поколение» участников спора о советской модерности в 1990-х и начале 2000-х годов было ограничено текущей ситуацией и сформировавшимися его теоретическими установками. Но вопреки, а отчасти и благодаря этим препятствиям эта дискуссия получилась такой продолжительной, вплоть до прозвучавших в позднейшее время гологов, которые, отвергая категорию советской модерности, говорят об архаичных пережитках российского прошлого<sup>27</sup>. Эти дискуссии скрупулезно изучаются не только чтобы прояснить обсуждаемые проблемы, но и чтобы высказать предположение, что исследования, связанные с Россией, выиграли бы от более пристального внимания к концепции множественных модерностей<sup>28</sup>. Конечно, в рамках этой категории возникают свои концептуальные проблемы. Понятием множественных модерностей и альтернативных модерностей, как и многими другими терминами, могут прикрываться в различных интеллектуальных и политических целях; идея своеобразия, например, французской модерности может быть использована как лозунг борьбы с американизацией. В 2013 году Штефан Плагенборг, отметив в своем высказывании значимость «молчания» социологической теории модерности о Восточной Европе и в особенности о советском коммунизме, тем не менее отвергает теорию множественных модерностей Ш.Н. Эйзенштадта как «тривиальную» и почему-то «излишне научную», хотя речь шла о социологической теории, прямо назвавшей коммунизм современной формой. В призыве Эйзенштадта

---

<sup>27</sup> Getty J.A. *Practicing Stalinism: Bolsheviks, Boyars, and the Persistence of Tradition*. New Haven, CT: Yale University Press, 2014.

<sup>28</sup> Ключевой в этом отношении текст: Eisenstadt Sh.N. (ed.). *Multiple Modernities*. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 2002 (Daedalus. Vol. 129. 2000. No. 1 (Winter): Multiple Modernities).

видеть различия Плаггенборг видит отвечающий моде на мультикультурализм, а потому политизированный жест, затрудняющий точное определение модерности; теория множественных модерностей предполагает опознание многих «деревьев», которые в совокупности, однако, не образуют какого-то обозримого «леса»<sup>29</sup>. Совершенно справедливо замечено, что понятие множественных модерностей несопоставимо с единственным, конкретным определением современного. Правда и то, что сама по себе множественность не решает проблемы. Однако Плаггенборг оставляет без ответа вопрос, который сам ставит, если не считать лишнего особенного энтузиазма призыва поместить обсуждение модерности в исторический контекст<sup>30</sup>.

Однако как раз с исторической точки зрения понятие множественных модерностей ценно, поскольку подразумевает, что нет единого пути к модерному. Модерность самым тесным образом связана с процессами и идеями становящегося мира. Западная Европа могла быть родоначальницей многих современных процессов, позже усвоенных или разработанных мировым сообществом, однако в основе концепции множественных модерностей лежит понимание, что модерность – не исключительно западное явление<sup>31</sup>. В ней также подчеркивается, что нет целостного «Запада». Из этого следует, что анализировать культурные и цивилизационные модели стран за пределами Западной Европы особенно важно, чтобы составить какое-то представление о вариантах модерности в этих странах. Иначе все сведется попросту к изучению того, как перенимали западные схемы. Наконец, проблема сходств и различий неизбежно выходит на первый план, если речь идет о советском коммунизме как альтернативной форме. В конечном счете, моя собственная цель состоит в том, чтобы разъяснить, что границы, препятствия и продолжение постсоветских научных споров о модерности должны уступить место обсуждению в обновленном русле.

Но высказывать предложения и критику, не намечая на практике никаких альтернативных конструкций, легко. Поэтому во второй главе я перехожу от аналитической критики к попытке исторического синтеза. В ходе этого я предлагаю понятие интеллигентско-элитарной модерности (*intelligentsia-statist modernity*), вбирающее в себе некоторые – не все – устойчивые, но исторически эволюционирующие особенности российско-советской вариации модерности. В основе здесь лежит допущение, что между царской Россией и Советским Союзом существовали огромные различия и что русская революция и советский строй были сопряжены с целым рядом новых планов и практик. Но никакой анализ, ограниченный периодом после 1917 года, не способен уловить более широких культурных предпосылок и траекторий, необходимых для рассмотрения глубинных моделей развития, и историки Советского Союза сегодня уделяют намного меньше внимания, чем могли бы, как сложностям поздеимперского периода, так и *longue durée* («большой длительности»). Несмотря на оживленные споры и дискуссии, которыми пестрит история России и Советского Союза, в особенности в революционный и ранний советский периоды, простое противопоставление преемственности и ее отсутствия скорее отвлекает от сути вопроса. Всегда присутствует преемственность и всегда есть разрывы; вопрос в том, чтобы локализовать и понять их, а также их соотношение. Внимание к сохранившейся на фоне разрыва 1917 года преемственности может дать историку более широкое видение разломов и разрывов, выявляя то, что сохраняется, даже когда некоторые пути уже

<sup>29</sup> Plaggenborg S. Schweigen ist Gold: Die Moderntheorie und der Kommunismus // Osteuropa. 2013. Vol. 63. № 5–6. S. 67–78; цитата: P. 71.

<sup>30</sup> Plaggenborg S. Schweigen ist Gold. S. 78.

<sup>31</sup> В числе все чаще появляющихся работ о незападных модерностях: Agraval A., Agraval S. (eds.). *Regional Modernities: The Cultural Politics of Development in India*. Stanford, CA: Stanford University Press, 2003; Deutsch J.-H., Probst P., Schmidt H. (eds.). *African Modernities: Entangled Meanings in Current Debate*. Portsmouth, NH: Heinemann, 2002; Aksikas J. *Arab Modernities: Islamism, Nationalism, and Liberalism in the Post-Colonial Arab World*. New York: Peter Lang, 2009; Islamoglu H., Perdue P.C. (eds.). *Shared Histories of Modernity: China, India, and the Ottoman Empire*. New Delhi: Routledge, 2009. См. заслуживающий внимания критический анализ использования понятия «модерность» в колониальных исследованиях: Cooper F. *Modernity*.

закрыты<sup>32</sup>. Пересечение границы 1917 года здесь являет собой попытку разработать категории для размышления о траектории российской / советской модерности по обе стороны революционной пропасти. Эта попытка приобретает особую значимость, поскольку те, кто особенно критикует концепцию советской модерности, обычно обосновывают это, указывая на «традиционную» для России преемственность и ее сохранение после 1917 года, то есть, грубо говоря, на российскую / советскую «отсталость»<sup>33</sup>.

Ключевым для моего собственного подхода к проблеме модерности в российском и советском контексте можно назвать, кроме того, вывод, что бинарная оппозиция исключительности и общей модерности является ложной; она снова и снова уводит разговор от его сути. Если мы согласимся, что российская / советская модерность не тождественна другим, мы должны уделить особое внимание ее собственным отличительным чертам, но за шагом к тому, чтобы усмотреть в них модерность, стоит сравнение общих черт. Понимая советский коммунизм как альтернативную модерность, впитавшую в себя наследие России, мы получаем возможность одновременно исследовать специфику и общность в рамках единой, согласованной научной перспективы. Признать существенные отличия Советского Союза от других государств не означает его уникальности; усмотрение в нем связей с модерностью не делает его «нормой».

Но, прослеживая этот путь, мы сталкиваемся со множеством других непростых проблем. Если советский коммунизм представлял собой альтернативную модерность, значит, он также был современным проектом, потерпевшим неудачу в качестве альтернативы. Хотя между исследователями нет согласия относительно того, насколько «альтернативной» можно считать советскую модель, когда и как она провалилась, факт остается фактом: советский коммунизм не был способен к решению собственных проблем и поддержанию самого себя на протяжении семидесятилетнего жизненного цикла, поэтому совсем исчез как альтернатива. Именно в этом плане я говорю о несостоявшейся модерности. Однако наше изучение глубинных проблем, с которыми сталкивалась и которые создавала, но не могла решить советская система, должно было уравниваться осознанием риска, сопряженного с интерпретацией истории с 1991 года и до него.

В третьей главе в более косвенной форме, но более прицельно рассматривается проблема советской исключительности посредством рефлексии над определением и ролью идеологии в советском контексте. Содержание конкретной идеологии (в отличие от ее стимулирующей или узаконивающей роли) долгое время оставалось на втором плане или игнорировалось, например, в структуралистских сопоставительных интерпретациях революций<sup>34</sup>. Идеи как таковые также часто оставались в стороне в дискуссиях о тоталитаризме, предметом которых становилась скорее роль идеологий или присущие им функции, а не их содержание. Вот почему в большей части интерпретаций тоталитаризма в исследованиях, посвященных России / СССР, начиная с раннего периода и заканчивая тем, что можно назвать неототалитарной установкой позднего Мартина Малиа, подчеркивалась необычайная значимость идеологии в контексте Советского Союза и утверждалась причинная модель, в рамках которой исторические следствия выводились из положений марксизма-ленинизма. На протяжении полувека практикующие историки уклонялись от такого понимания идеологии, ставя таким образом под сомнение

---

<sup>32</sup> Хотя у меня не было возможности говорить в этой книге о 1991 годе, специалистам по истории России и СССР придется справляться с многочисленными сменами режима в XX веке, подобно тому, что происходило в истории Германии в 1918, 1933, в период активного развития двух Германий в 1945–1947 годах и в 1989 году.

<sup>33</sup> См. одну из последних работ на эту тему: *Getty J.A. Practicing Stalinism.*

<sup>34</sup> Приведу один яркий пример: Теда Скочпол в своем классическом компаративном исследовании революций (*Skocpol Th. States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia, and China. Cambridge: Cambridge University Press, 1979*), рассматривая последствия крупных революций, полностью отрицает объясняющую роль идеологий, на что, как известно, указал Уильям Сьюэлл: *Sewell W.H., Jr. Ideologies and Social Revolutions: Reflections on the French Case // Journal of Modern History. 1985. Vol. 57. № 1. P. 58–85, spec. 59.*

идеологию как категорию исторического анализа. Однако расцвет культурологических подходов к изучению России принес с собой и новый всплеск интереса к идеям и идеологиям как к каузальному, объясняющему элементу. Большое внимание стало уделяться и рассмотрению сути коммунистической идеологии, а также значению тех или иных политических идей в конкретных контекстах, а не просто в глобальном историческом плане. Об этом свидетельствует положение дел в области сопоставления сталинизма и нацизма, в связи с которым снова и снова звучит утверждение, что природа идеологии в каждом конкретном случае влечет за собой серьезные последствия, связанные с вопросами жизни и смерти<sup>35</sup>.

В исследованиях, глубоко проникающих в содержание и смыслы какой-то определенной идеологии, обычно акцентируются ее отличительные черты. Если говорить об СССР, то в число таких характерных особенностей входили сама вездесущность насаждаемой официальной идеологии, масштаб идеологического аппарата, задействованного в ее доработке, и ее роль в формировании самой структуры советской системы, основанной на таких ключевых принципах, как, например, антикапитализм. Неудивительно, что идеология находится не на последнем месте в дискуссиях об уникальности Советского Союза. Поэтому на противоположном полюсе от структуралистского пренебрежения идеологией (или преуменьшения ее роли за счет встраивания в другие компоненты исторического объяснительного контекста либо подчиненности им) находятся известные исследователи, считающие идеологию движущей силой советской истории. Крайнюю позицию здесь опять же занял Мартин Малиа, рассматривавший идеологию как элемент, делающий коммунизм «фантастичным и сюрреальным» – то есть полной противоположностью общей модерности<sup>36</sup>. Вариация на тему этой интерпретации была разработана крупным политическим теоретиком идеологии Майклом Фриденем. Фриден, основатель и редактор «Журнала политических идеологий», поставил перед собой важнейшую цель – освободить понятие идеологии от присущих ему негативных коннотаций и воспринимать его как нормальный элемент современного общества и политики. Однако, выполняя свое намерение, Фриден счел необходимым назвать «тоталитарные» идеологии «исключительными»<sup>37</sup>. Наряду с теми, кто впадает в крайности, считая идеологию ключом к истории советского коммунизма или вовсе пренебрегая ею, существует множество историков-практиков, которые стремятся не сводить исторический процесс к идеологическим постулатам, но при этом рискуют не отдать должное идеологической составляющей этого процесса.

Трактовка идеологии, намеченная в третьей главе, занимает ключевую позицию посередине между исключительностью и общей модерностью. Полагаю, роль идеологии в советском контексте очень заметна; в то же время многие важные черты советской идеологической арены (не говоря уже об истории ее интерпретации) все же роднят этот неординарный случай с другими эпохами и странами. Как и в случае с множественными модерностями, обозначенный в третьей главе подход потенциально плюралистичен: он утверждает правомерность множественных толкований идеологии и воздерживается от того, чтобы отдавать явное предпочтение какому-либо из них. Измерения идеологии в советском контексте, анализируемые в этой главе, включают в себя идеологию как доктрину, как мировоззрение, как дискурс, как действие, как систему убеждений и – не в последнюю очередь – как историческое понятие из марксистского и марксистско-ленинского словаря. Некоторые из этих «шести обличий идеологии» отсылают к более широкому плану специфики советского строя; в ходе рассмотрения других выявляются аналогии и сходство с другими эпохами и странами, а исторический анализ смыкается с другими типами исследований в этой области. Таким образом, в данном случае я снова ухожу от

---

<sup>35</sup> Я ссылаюсь на эссе из сборника: *Beyond Totalitarianism: Stalinism and Nazism Compared* / ed. M. Geyer, Sh. Fitzpatrick. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

<sup>36</sup> *Malia M. The Soviet Tragedy*. P. 7.

<sup>37</sup> *Freedon M. Ideology: A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press, 2003. P. 93.

окончательного выбора в пользу установки на универсализм или исключительность; это делается с целью не только наметить срединный вектор, но и развернуто описать эту область. В конце концов, учитывая важность проблемы идеологии для исследований Советского Союза, по-настоящему удивительно, что столь немногие историки-практики высказывались на тему определения идеологии и ее роли. Моей целью было сделать эту главу доступной для студентов и выпускников, начинающих осваивать поле своей работы, и я надеюсь, что будущие поколения историков СССР учтут множественность возможных трактовок идеологии.

Четвертая глава представляет собой беглый экскурс в историю понятий (*Begriffsgeschichte*), соединенную с анализом культурного аспекта революции в первые десятилетия Советского Союза<sup>38</sup>. В первоначальной редакции (1998 год) этот текст составлял часть диалога с Шейлой Фицпатрик, сформулировавшей в конце 1970-х годов определение концепции культурной революции в рамках современных исследований о России. Когда я только начал писать, классическое употребление понятия «культурная революция» Фицпатрик трансформировалось, термин стал синонимом периода первого в советской истории пятилетнего плана и, к неудовольствию самой Фицпатрик, превратился во что-то вроде принятой по умолчанию традиции, отсылки к которой не требуются. Я стремился заменить это унаследованное предание интерпретацией культурной революции как развивающегося понятия, ключевого для двух десятилетий большевистских и советских попыток культурных преобразований<sup>39</sup>. Даже сегодня многие исследователи по-прежнему используют выражение «культурная революция» именно как синоним периода с 1928 по 1931 год или по крайней мере агрессивных культурных кампаний исключительно первой пятилетки, в то время как другие, в том числе и я сам, предпочитают – в силу причин, изложенных в следующей главе, – следуя постсоветской российской практике, говорить об этом периоде как о сталинском «великом переломе». В рамках этой попытки переосмысления я расширяю поле исследования, включая в него примыкающие к понятию культурной революции концепции – в частности, «быт» в социалистической трактовке и «культурность».

Поставив перед собой задачу вписать свою историю понятия культурной революции в более обширный контекст советских культурных преобразований, я оказался вовлеченным в необычную и для меня пока в своем роде единственную форму научного диалога. Я знал, что на мою статью 1998 года ряд исследователей откликнулся в своих крупных монографиях, многие из которых были опубликованы почти десятью годами позже. В этих работах анализировался центральный постулат статьи о том, что понятие культурной революции не следует воспринимать как относящееся исключительно к «великому перелому»; их авторы также предлагали свои варианты расширенного понимания культурной революции, опираясь на собственные оригинальные исследования. Особенно это касалось разросшейся литературы, связанной с «имперским поворотом» в российской и советской истории: изучением нерусских культур, политикой в отношении отдельных национальностей, советизацией и культурной политикой в советских республиках. То, что я почерпнул из их работ, я впоследствии учел в этой своей новой книге и расширил данный фрагмент.

История коммунистических культурных преобразований, в центре которой находится идеологическая концепция в культуре и политике раннего СССР, опять же строится на одном существенном аспекте советской самобытности. Однако в четвертой главе культурная рево-

<sup>38</sup> Авторы исследований по истории идей, относительно редких среди посвященных России работ, намного охотнее обращаются к имперскому периоду. См., например: *Миллер А., Свижков Д., Ширли И. (ред.)*. Понятия о России: к исторической семантике имперского периода. М.: Новое литературное обозрение, 2012. См. критическую реплику в ответ на возрождение *Begriffsgeschichte*: *Sperling W.* 'Sleeping Beauty'? Or What Can We Expect From a *Begriffsgeschichte* of Russia Today? A Critical View on a Historical Perspective // *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*. 2012. Vol. 60. № 3. P. 373–406.

<sup>39</sup> *David-Fox M.* What is Cultural Revolution? // *Russian Review*. 1999. Vol. 58. № 2. P. 181–201; *Fitzpatrick Sh.* Cultural Revolution Revisited // *Ibid.* P. 202–209; *David-Fox M.* Mentalité or Cultural System: A Reply to Sheila Fitzpatrick // *Ibid.* P. 210–211. Ключевой текст: *Fitzpatrick Sh. (ed.)*. *Cultural Revolution in Russia, 1928–1931*. Bloomington: Indiana University Press, 1978.

люция становится и основанием для сравнения – в данном случае между советской и китайской версиями коммунизма. Разумеется, две коммунистические революции были напрямую связаны между собой, и маоизм можно рассматривать и как разновидность сталинизма, и как отступление от него. Однако два гиганта «второго мира» пережили ключевую смену различных между собой революционных этапов, что наглядно демонстрируется сквозь призму их отношений с культурной революцией – как самим понятием, так и стоящим за ним явлением<sup>40</sup>.

Глава пятая вошла в эту книгу, поскольку в ней представлен важный аспект моей работы – институциональная история. Кроме того, в ней анализируется история не одного, а двух институтов: одного из старейших – Академии наук, основанной Петром Великим, и ее революционной соперницы 1920-х годов – Социалистической (с 1924 года – Коммунистической) академии. Сосуществование Академии наук и ее революционного конкурента после 1918 года привело к роковой «большевизации» старой Академии в 1929 году, подразумевавшей контроль и преобразование всего механизма советской научной системы, а в конечном счете – ее слияние с партийной организацией в 1936 году. Рассматривая, как взаимодействовали две академии, мы наблюдаем необычное слияние двух очень разных организаций: дореволюционного российского учреждения, подчиняющегося государству, и его революционного противника, подчиняющегося партии. Для меня это более чем существенный эпизод в истории советской науки и интеллектуальной жизни. На него в какой-то мере опирается еще один столп советской специфики – институциональная история управляемого партией государства.

Выдающийся советолог Роберт Ч. Такер охарактеризовал природу партийного государства, назвав молодой Советский Союз «режимом в движении», при котором государство возглавляла революционная партия. С его точки зрения, это открывало новые возможности сравнения; в основе лежала его ранняя (1960) попытка поставить под вопрос концепцию тоталитаризма и сопоставить советскую систему с другими авторитарными однопартийными режимами, такими как кемалистская Турция<sup>41</sup>. Одновременно то обстоятельство, что государством управляла вызывающая массовое движение партия, сформировало одну из самых своеобразных черт советской системы (которая, однако, проявлялась и в других коммунистических странах) – систематическую и всепроникающую двойственность, с которой партия постоянно производила чистку всего государственного аппарата и при этом затемняла его. В административном плане несомненно, что, например, нацистская партия занимала в Третьем рейхе намного более скромное и зависящее от случая положение. Как объяснил Стивен Коткин с опорой на свою концепцию сталинизма как теократии – и как это сделал до него Такер, говоривший о растущем сходстве партийного государства с государством церковным, – одной из функций партии, скрывавшей происходящие в государстве процессы, было хранение революционной идеологии<sup>42</sup>. В 1920-е годы одним из классических разделений, обусловленных нэпом (новой экономической политикой), стало разделение между «красными», то есть представителями партии, и «буржуазными специалистами», оставшимися работать в условиях нового режима. Так, в промышленности беспартийных работников умственного труда и специалистов должны были контролировать красные – партийные чиновники; в области культуры и науки им соответствовала партийная интеллигенция, пытавшаяся создать новую прослойку красных интеллигентов. Однако высшими инстанциями контроля были те, кто все чаще присваивал

---

<sup>40</sup> См. недавние исследования в области сопоставления революций, посвященные их стадиям и итогам, включая феномен повторных революций: *Goldstone J.A. Rethinking Revolutions: Integrating Origins, Processes, and Outcomes // Comparative Studies of South Asia, Africa, and the Middle East. 2009. Vol. 29. № 1. P. 18–32; Goldstone J.A. Revolutions: A Very Short Introduction. New York: Oxford University Press, 2014.*

<sup>41</sup> *Tucker R.C. The Soviet Political Mind: Studies in Stalinism and Post-Stalin Change. New York: Praeger, 1963; Tucker R.C. Toward a Comparative Politics of Movement-Regimes // American Political Science Review. 1961. Vol. 55. № 2. P. 281–290; Gleason A. Totalitarianism. P. 127.*

<sup>42</sup> *Tucker R.C. Stalin in Power: The Revolution from Above. New York: W.W. Norton, 1990. P. 38; Kotkin S. Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization. Berkeley: University of California Press, 1995 (spec. p. 293–298).*

себе роль новых красных специалистов в социальной инженерии и политическом терроре, – партийные лидеры.

Как можно понять из сказанного, разделение между партией и государством, красными и представителями свободной профессии было важно не только для зарождающейся политической системы и институциональных структур советского строя в целом, особенно в период его расцвета в 1920-х годах. Это было и разделение, основополагающее для истории советской науки, образования и культуры<sup>43</sup>. В этом отношении культурная революция обладала важным институциональным измерением. Если период нэпа характеризовался вынужденным компромиссом между непартийными организациями (такими, как Академия наук) и новыми партийными учреждениями и кадрами, то «великий перелом» был сопряжен с критикой и беспорядками, за которыми последовала реабилитация Сталиным в 1932 году прежних «буржуазных специалистов». В результате возник синтез, но у этого синтеза была своя долгая история, в ходе которой сменяющие друг друга группы и поколения представителей теперь, в теории, единой советской интеллигенции обсуждали давние различия, связанные с ранним советским разделением на красных и образованную прослойку. Академия наук была единой – благодаря своей уникальной дореволюционной истории, благодаря нетипичным образом сохраненному в 1920-е годы статусу и в силу того, что эти разделения очень по-разному выражались в различных областях культуры и отраслях знания. Но их изучение полнее раскрывает более общие процессы в других сферах.

Хотя Академия наук была государственной организацией, основанной Петром Первым и формировавшейся на протяжении двухвекового взаимодействия сначала с царским, а затем с советским правительством, в 1920-е годы она обоснованно считалась главным бастионом научной интеллигенции высочайшего уровня, которая в период, когда бал правили нэповские предприниматели, была наиболее полезной и защищенной прослойкой. История ее коммунистического конкурента, надежд первых коммунистических академиков, принудительной реорганизации старой Академии и итогового включения незначительной Коммунистической академии в новый советский центр власти являет, таким образом, в миниатюре конфликт между беспартийным и большевистским крылом интеллигенции на разных этапах революции.

В одном из своих наиболее пронизательных, глубоких эссе Шейла Фицпатрик писала об интеллигенции и представителях партии как о двух сохранившихся после революции элитах, «оскорбленно-независимых, завистливо неразборчивых в средствах и при всем том – единственных возможных претендентах на лидерство в раздробленном и нестабильном послереволюционном обществе». Между ними было больше общего, чем признала бы каждая из сторон: острое сознание своей исторической миссии и морального превосходства наряду с «представлениями о культуре как о чем-то, что (подобно революции) образованное меньшинство приносит массам, чтобы возвысить их»<sup>44</sup>. Глава пятая построена на этих убедительных суждениях применительно к конкретному значимому контексту, но выводы о конечных итогах оказываются неоднородными. Ни интеллигенция, ни партия не были статичны или монолитны, и если мы даже представляем себе их таким образом только в исследовательских целях, это может упростить результат. Цитируя Фицпатрик, «интеллигенция потеряла на этом пути свободу и самоуважение, хотя и победила в культурной борьбе, в то время как коммунисты потеряли уверенность в наличии связи между коммунизмом и культурой, выиграв в борьбе за власть»<sup>45</sup>. Представленный здесь в связи с разговором о двух академиях анализ приводит к менее одно-

---

<sup>43</sup> Классическая англоязычная работа о разделении на красных и специалистов: *Bailes K.E. Technology and Society under Lenin and Stalin: Origins of the Soviet Technical Intelligentsia, 1917–1941*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1978.

<sup>44</sup> *Fitzpatrick Sh. On Power and Culture // The Cultural Front: Power and Culture in Revolutionary Russia*. Ithaca, NY: Cornell Univ. Press, 1992. P. 5–6.

<sup>45</sup> *Ibid.* P. 15.

значным выводам. Он наводит на мысль, что их «симбиоз» в 1920-е годы способствовал значительному взаимопроникновению между двумя лагерями.

Кроме того, размышляя, что представляли собой эти две «стороны» на протяжении советской эпохи с ее резкими и извилистыми поворотами, следует учитывать смену поколений<sup>46</sup>. С точки зрения представителей поколения 1920-х годов, проиграли обе стороны, но можно также заключить, что синтез развивался так, как никто не планировал и не ожидал. Над следствиями этих рассуждений – что каким-то неожиданным, даже скрытым образом Коммунистическая академия частично привила свой дух и миссию большевистской Академии наук – стоит задуматься. Это означает, что советская Академия наук, один из главных бастионов компромисса сталинской эры с прошлым, консерватизмом, путь к «отступлению», представляла собой, если глубже изучать историю «большевизации», синтез главных революционных нововведений 1920-х годов и преобразованной старой академической среды. Это, в свою очередь, дает дальнейший исторический материал, позволяющий обосновать концепцию интеллигентско-элитарной модерности.

Предметом заключительной, транснациональной части книги стали визиты иностранцев и их восприятие Советского Союза, формируемое советскими посредниками и практиками приема, а также их собственными убеждениями и интересами. Однако три фигуры, стоящие в центре шестой и седьмой глав, не могли бы быть более несхожими: попутчик Ромен Роллан, возможно наиболее известный из западных интеллектуалов, защищавших сталинизм в 1930-е годы; его жена Мари Роллан, или Мария Кудашева, «посредник» между великим французским писателем и советской политикой и культурой и Эрнст Никиш, крайний правый противник гитлеризма из «национально-революционного» лагеря периода поздней Веймарской республики, создавший смешанное учение и основавший движение, которое сочетало в себе элементы социал-демократии и фашизма, фантазирувавший на тему «пруско-русской» геополитической «общности судеб». Таким образом, три рассматриваемые фигуры обладали совершенно разным политическим багажом и разными взглядами; кроме того, Кудашева видела Советский Союз «изнутри», в то время как два других иностранца были именно «чужаками», наблюдающими извне и – каждый по-своему – захваченными увиденным.

В каком-то смысле фигуры Роллана и Никиша призваны – по-разному – поместить в исторический контекст стержневой вопрос об универсализме или самобытности советского строя. Ключом к восприятию Ролланом Советского Союза и сталинизма были его представления о русской революции, на которую он смотрел сквозь призму революционных событий во Франции; об общеевропейском противостоянии фашизму, в котором СССР был союзником прогрессивной Европы; наконец, о поучительном, просветительском монументализме сталинской культуры, которая лично его привлекала намного больше по сравнению с авангардом. Но Роллан, видевший универсализм везде, когда он смотрел на восток, вскоре столкнулся с ужасами Большого террора и чудовищными подробностями сталинской политической культуры. Никиш же, наоборот, в соответствии со своим ультранационалистическим «пруским большевизмом», придумал теорию о взаимной близости двух лагерей – молодого и полного сил Востока и традиционно единообразного прусского милитаризма и государственного контроля, которые, вероятно, могли бы им вдохновляться. Его взгляды на советский коммунизм отчасти были продиктованы яростной идеологической и геополитической ненавистью к Западу.

Политические и идеологические воззрения Кудашевой, которые, согласно источникам, в 1920-е годы были просоветскими, а в период ее жизни с Ролланом в 1930-е годы – резко антифашистскими, намного более фрагментарны и менее уловимы. Что касается сталинизма, она,

---

<sup>46</sup> Последовательный анализ проблемы поколений в советской истории встречается редко; см. работу, содержащую в себе большое количество советского материала: Lovell S. (ed.). *Generations in Twentieth-Century Europe*. London: Palgrave Macmillan, 2007. О формировании идеи поколения в России как феномене интеллигенции XIX столетия см.: Lovell S. *From Genealogy to Generation: The Birth of Cohort Thinking in Russia* // *Kritika*. Vol. 9. № 3. 2008. P. 567–594.

разумеется, во многом была существенно ограничена. Но именно ее посредническая функция – как секретаря Роллана, его переводчика и устроительницы его интенсивного общения с советским руководством, прессой и представителями культурных институтов – делает ее по-своему значимой исторической фигурой. Кудашева была одной из тех многих, чья роль – установление диалога между западными посетителями и наблюдателями и советскими людьми – приобретала все большую значимость в 1930-е годы. Но она принадлежала к более узкому кругу тех, кого я бы назвал интимными посредниками – это возлюбленные или супруги, у которых формировались эмоциональные связи со значимыми для советских людей личностями и которые обладали особым и продолжительным влиянием на этих людей. Кудашева, например, быстро стала для Роллана олицетворением «новой России» и сыграла ключевую роль в том, что он сделался главным «другом Советского Союза» среди западных интеллектуалов.

И Никиш, и Роллан бывали в СССР – в 1932 и 1935 году соответственно. Но чтобы осмыслить даже этот их краткий опыт знакомства с Советским Союзом, мы должны учитывать всю совокупность биографических, личностных и более общих, связанных с различными обстоятельствами факторов. В случае с Ролланом не последнюю роль в его поездке и встрече со Сталиным в Кремле сыграла Кудашева. Если говорить о Никише, то его опыт взаимодействия с советской действительностью трактуется в рамках долгой идеологической одиссеи, в которой этот опыт был укоренен и которая включала в себя переход от революционной социал-демократии к крайнему правому национализму под сильным влиянием некоторых аспектов ленинизма и сталинизма (тому, что в связи с немецкой консервативной революцией обычно называют национал-большевизмом). В 1945 году в ГДР он вернулся к коммунизму. Я попытался здесь проследить эту необычную, по-настоящему незаурядную траекторию если и не как парадигматическую, то по крайней мере в каком-то смысле показательную. Она указывает, во-первых, на взаимодействия между крайним левым и крайним правым крылом интеллектуалов и их политических идеологий в XX веке. С этой точки зрения Никиш представляет собой готовую иллюстрацию к тому, как надо интерпретировать идеологию, учитывая другие многочисленные факторы в определенном историческом контексте. Во-вторых, она указывает на околосоветские (или национал-большевистские) настроения в так называемом национальном революционном лагере Веймара, на которые повлияло и становление национал-социализма, и Коммунистическая партия Германии. Эта сложная веймарская территория оказалась также вовлечена в международную обстановку за счет влияния советской политики и попыток отвлечь национал-большевиков от крайнего правого курса. Наконец, образы и впечатления, с которыми изначально ассоциировались у современников эти три фигуры и которые сохранились в восприятии их как исторических личностей, важно иметь в виду, обращаясь к их биографиям. Сюда, в частности, относятся упорные слухи о Кудашевой как агенте НКВД, Роллан как образец европейца в сталинской культурной среде и Никиш как противник гитлеризма – тема, вновь открытая участниками беспорядков в Германии после 1968 года, вновь обратившимися к национальной проблематике.

На первый взгляд может показаться, что транснациональные главы этой книги в меньшей степени связаны с центральным вопросом, с которого начинаются главы теоретические, – обширной дискуссией об исключительности или общей модерности в рамках исследований о России и альтернативными подходами, обозначенными в этой книге. Но я утверждаю, что они также относятся к общей теме этой работы. Изучение кросс-культурных и трансидеологических обнаруживает, чего именно не хватает советской истории как области науки: она должна учитывать международные и транснациональные аспекты; должна быть ориентирована на сопоставление, хотя бы подразумевать его; должна вступать во взаимодействие и соприкасаться с другими странами, культурами и политическими традициями<sup>47</sup>. Этим целям можно

---

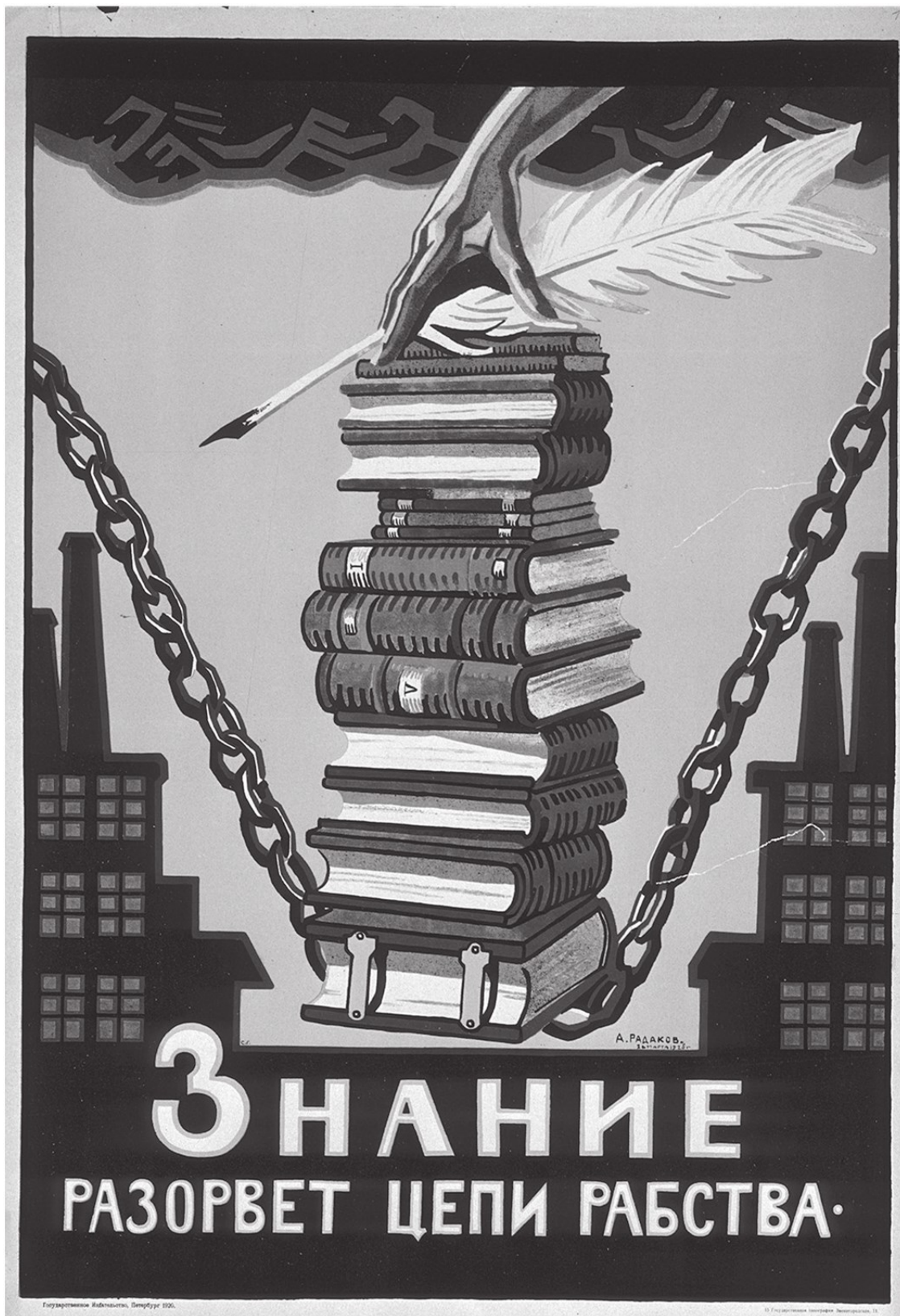
<sup>47</sup> См. мои соображения о транснациональной истории в российском и советском поле: *David-Fox M. The Implications of*

достичь вне зависимости от того, какую историю мы пишем: политическую, социальную, культурную или интеллектуальную. В то же время экскурсы в транснациональную историю снова подводят нас к тем особенностям советского строя – например, институциональному устройству партийного государства, – которые были необычными и поражали внешних наблюдателей, живших в то время. Эта часть книги, таким образом, заполняет пространство альтернативной позиции между исключительностью и общей модерностью.

У названия этой книги, «Пересекая границы», несколько смыслов. Первый, наиболее очевидный, относится к международной среде, к которой отсылают дискуссии о модерности, и пересечению границ исследователями, изучающими транснациональную историю. Второй смысл связан с различными методами исследования: теоретическим, историческим, историографическим, – которые я накладываю один на другой. Их границы сходятся не так часто, и надеюсь, что результат натолкнет читателей на размышления. В частности, историографический элемент, под которым нередко понимают сухой «обзор литературы», годящийся лишь для диссертаций, включен в эти эссе как эскизы на тему интеллектуальной истории, чтобы полноценно представить ключевые проблемы и не изобретать велосипед. В-третьих, «пересечение» границ подразумевает работу с разными областями истории: политической, социальной, культурной, идеологической и экономической – проблема, которая часто возникает в контексте обсуждения причинно-следственных связей, а также в истории изучения России и СССР. На протяжении всей книги я выступаю против редуционизма, высказывая мысль, что процессам в каждой отдельно взятой сфере можно отдать должное с исторической точки зрения, не сводя один из них к другому, и обращаю внимание на то, как стремление поставить на первый план что-то одно сформировало исторические исследования России и Советского Союза. Я не утверждаю, что все объяснения равны, но призываю распространить плюралистическую позицию, занимаемую по отношению к множественным модерностям и различным пониманиям идеологии, на проблему ключевых элементов исторического исследования и объяснения. Утверждения, что идеология полностью сформировала советскую историю, что первопричиной всего является политическая власть, что социальные факторы были более значимы или что все завязано на культуре либо дискурсе, иллюстрируют те каузальные и объяснительные системы, которые выстраивались и перестраивались в затянувшейся борьбе различных видов редуционизма. Есть множество эвристических и методологических оснований, чтобы отдать каждой среде, или «области», должное и рассмотреть ее динамику, но пересечение этих понятийных и дисциплинарных границ в контексте истории зарождающегося советского строя позволяет нам выяснить и исследовать, как взаимодействовали разные сферы в рамках обширной экосистемы.

Наконец, пересечение границ говорит о значимости обобщающей попытки найти среднее арифметическое между присущими этой области бинарными оппозициями, прежде всего между исключительностью и общей модерностью. Этот средний путь сопряжен с сетью смыслов, объяснениями, допускающими множественность причин, и скорее плюралистическими, чем однозначными интерпретациями. Вполне может быть, что, следуя ему, мы придем к менее резким – более тонким и в сопоставительной перспективе более «нормальным» – утверждениям. Для истории советского коммунизма это более трудная, а для истории России – более настоящая задача.

## ЧАСТЬ I. РОССИЙСКАЯ И СОВЕТСКАЯ МОДЕРНОСТЬ



К гл 2. Алексей Радаков. «Знание разорвет цепи рабства», 1920 год. Рука с небес, опирающаяся на стопку книг, аллегорически изображает русско-советский, «интеллигентско-государственный» порыв к просвещению масс. Публикуется с любезного разрешения библиотеки и архивного отдела Гуверовского института (Стэнфордский университет).

# 1. МНОЖЕСТВЕННЫЕ МОДЕРНОСТИ VS. НЕОТРАДИЦИОНАЛИЗМ О НЕСМОЛКАЮЩИХ СПОРАХ В РОССИЙСКОЙ И СОВЕТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

Призрак модерности продолжает преследовать многих западных исследователей, занимающихся российской и советской историей. В процессе работы над этой проблемой постсоветская историография продолжает изобретать новые повороты и вариации трудных старых вопросов. За прошедшее время противоречия в этой области могли формулироваться по-разному: между индустриальным обществом и отсталостью, между универсализмом и самобытностью, между Россией как частью Европы и Россией как единственной в своем роде страной. Эта глава представляет собой анализ непосредственно спора о модерности и понятии неотрадиционализма, вошедшего в научный обиход в 2000-х годах. Кроме того, в ней затронуты более обширные пласты прошлого, не обсуждавшиеся участниками этого спора, а также возможные отголоски продолжающейся дискуссии в будущем.

В сборнике о новых тенденциях в изучении сталинизма, вышедшем под ее редакцией, Шейла Фицпатрик поместила разногласия между сторонниками концепции модерности и его критиками в центр современной историографии. В работах «сегодняшнего поколения», предположила Фицпатрик, «можно отчетливо различить два подхода... „Модерная“ группа... полагает, что стереотип модерности, основанной исключительно на опыте Запада (парламентской демократии, рыночной экономике), не соответствует действительности, и указывает на Советский Союз как важный пример альтернативной формы». Видение альтернативной советской модерности, присущее этой группе, она описала как опирающееся на наличие статистических данных: о планировании, ранних попытках улучшить социальное обеспечение, ориентации на научное мышление, государственном контроле, само- и коллективной дисциплине. Критики, приверженцы концепции неотрадиционализма, не всегда отрицают, что Советский Союз мог считаться по-своему современным, однако «их интересуют прежде всего „архаичные“ явления, также характерные для сталинизма: прошения, отношения покровительства и зависимости, неотъемлемые признаки других типов межличностных связей, таких как „блат“, предписываемые социальные категории, „придворная“ кремлевская политика, мистификация власти и создание ее образа через показательную демонстрацию и т.д.»<sup>48</sup>. Когда эта дискуссия только началась, она, как отметила Фицпатрик, носила институциональный характер: парадигму модерности отстаивала в первую очередь группа выпускников Колумбийского университета под влиянием работ Стивена Коткина, историка из Принстона; неотрадиционалистская модель, разработанная бывшим докторантом самой Фицпатрик из Чикаго, развивалась как отклик на первую или ее альтернатива<sup>49</sup>.

Историк науки или социолог с готовностью бы расценил возникновение двух противоположных позиций, выстроенных каждая вокруг определенного понятия, как обыкновенное явление, сопутствующее развитию науки. Однако заурядные черты этой дискуссии не должны затмевать того обстоятельства, что в основе ее лежит основополагающая, стержневая для истории России проблема, в связи с которой покойный Леопольд Хеймсон, близкий к школе «Анна-

---

<sup>48</sup> *Fitzpatrick Sh.* Introduction // *Stalinism: New Directions* / ed. Sh. Fitzpatrick. London: Routledge, 1999. P. 11.

<sup>49</sup> *Ibid.* P. 14, n. 29. Среди упомянутых ниже выпускников Колумбийского университета – Йохен Хелльбек, Дэвид Хоффман, Питер Холквист, Янни Коцонис и Амир Вайнер; среди выпускников Чикагского университета – Мэтью Лено и Терри Мартин. О «продуктивном взаимодействии между колумбийской и чикагской школами» см.: *Siegelbaum L.H.* *Whither Soviet History? Some Reflections on Recent Anglophone Historiography* // *Region: Regional Studies of Russia, Eastern Europe, and Central Asia*. 2012. Vol. 1. № 2. P. 213–230, цитата: P. 216.

лов», на первом занятии чертил на доске свой знаменитый «железный крест», объясняя поколениям студентов вертикальную черту между универсализмом и самобытностью, разделявшую поле политических и социальных концепций<sup>50</sup>. Поскольку в постсоветской борьбе решался этот ключевой вопрос, он сохранил значимость даже после того, как многие участники дискуссии перешли к новым ее этапам. Вопрос о том, какого подхода требует проблема советской модерности, продолжает вызывать споры вокруг базовых концепций, связанных с пониманием исторического пути России, советской системы и сталинизма.

Если эта глава содержит какой-то посыл, то это призыв к тем, кто по-прежнему считает модерную и неотрадиционалистскую парадигмы достаточно убедительными, глубоко и тщательно анализировать их основные положения. Цель этой дискуссии состоит в том, чтобы (1) проанализировать теоретические разногласия в постсоветской историографии, сосредоточившись главным образом на работах, в которых развернуто обосновываются понятия концепции модерности и неотрадиционализма; (2) выявить различия между этими тенденциями и выводами, которые они подразумевают, особенно в том, что касается различного понимания ими модерного и отличающихся оснований для сравнения; (3) высказать предположение относительно того, почему концепция множественных модерностей, о которой первые постсоветские сторонники российской / советской модерности не говорили прямо, одновременно разрешает и усложняет дилеммы, уже намеченные парадигмой модерности. Параллельно я указываю на сохраняющиеся отголоски этого разделения в 2010-х годах, когда многие исследователи принимают советскую модерность как данность, в то время как другие отдают предпочтение традиционалистским чертам советского строя<sup>51</sup>.

## ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ СОВЕТСКОЙ МОДЕРНОСТИ

Как известно, модерность – трудноуловимое понятие. Хотя Фицпатрик и неотрадиционалисты по умолчанию склонны были воспринимать группу сторонников модерности в контексте России и СССР как целостную, бросается в глаза, насколько по-разному историки развивают эту концепцию, подчеркивая различные аспекты исторического процесса. Поэтому велика вероятность, что группой приверженцы модерности стали исключительно благодаря критике. Первые научные исследования о России с точки зрения концепции модерности так или иначе опирались на существующую литературу на эту тему как в теоретическом, так и в сопоставительном плане, и модерность в них определялась совершенно по-разному. Например, в сборнике эссе «Российская модерность» главная попытка сформулировать полноценное определение модерности содержится в предисловии Янни Коцониса, который видит в ней прежде всего «интернализацию власти»<sup>52</sup>. Дэвид Хоффман в заключении к той же книге приравнивает модерность к просветительской «установке прогрессивного социального вмешательства и расцвету политики масс»<sup>53</sup>. Питер Холквист в своей классической статье о государствен-

---

<sup>50</sup> *Hellbeck J., Holquist P.* Leopold Haimson (1927–2010) // *Kritika*. 2011. Vol. 12. № 3. P. 761.

<sup>51</sup> Другая возможность, рассматриваемая ниже, – теория влиятельного, но несостоявшегося российско-советского варианта модерности, охватывающего период как до 1917 года, так и после.

<sup>52</sup> *Kotsonis Y.* Introduction: A Modern Paradox: Subject and Citizen in Nineteenth- and Twentieth-Century Russia // *Russian Modernity: Politics, Knowledge, Practices* / ed. D. Hoffmann, Y. Kotsonis. New York: Palgrave Macmillan, 2000. P. 5; см. также: *Kotsonis Y.* Making Peasants Backwards: Agricultural Cooperatives and the Agrarian Question in Russia, 1861–1914. New York: St. Martin's Press, 1999. P. 35, где Коцонис дает схожее определение модерности и апеллирует к Энтони Гидденсу: *Giddens A.* The Consequences of Modernity. Stanford, CA: Stanford University Press, 1990.

<sup>53</sup> *Hoffmann D.L.* European Modernity and Soviet Socialism // *Russian Modernity*. P. 246–247. В своей следующей книге он писал: «Я определяю модерность исходя из двух особенностей, присущих всем современным политическим системам, – социального вмешательства и политики масс» (*Hoffmann D.L.* *Stalinist Values: The Cultural Norms of Soviet Modernity, 1917–1941*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2003. P. 7).

ном контроле в России в общеевропейском контексте анализирует прежде всего специфически современные практики и инструменты социальной и политической инженерии, сформировавшиеся в российской политической среде в военно-революционный период 1914–1921 годов<sup>54</sup>. По мнению Стивена Коткина, высказавшего важную мысль, что модерность в разных странах обозначала различные явления в зависимости от исторической эпохи, «межвоенному периоду» – эпохе масс – была свойственна модерность, в основе которой лежала триада массового производства, массовой культуры и массовой политики<sup>55</sup>.

По мере распространения концепции российской и советской модерности в 1990-е и 2000-е годы на первый план выступали различные черты модерности и их российские / советские проявления. Понятно, что различия непосредственно зависели от выбранной автором исторической проблемы и критериев сравнения. По мысли Юрия Слэзкина, высказанной в его интеллектуально эпатажной книге «Еврейский век» (в русском переводе – «Эра Меркурия. Евреи в современном мире»), «модернизация заключается в том, что все становятся подвижными, чисто плотными, грамотными, говорливыми, интеллектуально изощренными и профессионально пластичными горожанами». На первой странице книги утверждается, что «модернизация – это когда все становятся евреями»; но заявления об «образцовой модерности» евреев автору показалось недостаточно. Он также утверждает, что «все главные современные (анти-современные) пророчества были также решениями еврейского вопроса»: модернизм в искусстве – «осуждение современной жизни», марксизм, большевизм, фрейдизм («учение по преимуществу еврейское»), первый этап русской революции («еврейский век») и, наконец, само двадцатое столетие. Если какое-то из этих явлений кажется антисовременным или антимодернистским, это потому, что современное у евреев было неотделимо от древних и племенных особенностей<sup>56</sup>. Кейт Браун, описывая приграничные «кресы», наоборот, говорит о мрачном однообразии современности, обусловленном искоренением «культурной мозаики», стиранием прошлого отдельных народов и местностей в ходе войны с отсталостью, включавшей в себя «вырывание отдельных людей, семей и групп населения из родной для них среды»<sup>57</sup>.

Тем не менее представляется возможным выделить некоторые общие тенденции, характерные для первого поколения научных работ, использовавших концепцию модерности применительно к России и Советскому Союзу. В частности, многие из тех, кто впервые заговорил о модерности в контексте революционной России и СССР, чаще всего сосредоточивались на преобразовательных планах и процессах, в особенности на политике государственного вмешательства, программах, сформулированных элитами, а также смещении породивших их исторических условий.

Эту множественность точек зрения на модерность и одновременно общность, пусть и расплывчатую, которые возникли как ответ на дилемму, связанную с переходом от «модернизации» к «модерности», легче понять вне российского контекста. В период между расцветом теории модернизации в 1950–1960-х годах и становлением менее телеологических и универсалистских подходов в 1990-х и 2000-х выявление общих, более или менее измеримых признаков модернизации (таких, как уровень индустриализации, грамотности, урбанизации и секуляризации) уступило место выявлению ряда абстрактных, онтологических, космологических изменений, связанных с наступлением модерности в разные эпохи и в разных странах. Среди

---

<sup>54</sup> *Holquist P.* 'Information Is the Alpha and Omega of Our Work': Bolshevik Surveillance in Its Pan-European Context // *Journal of Modern History*. 1997. Vol. 69. № 3. P. 415–450.

<sup>55</sup> *Kotkin S.* Modern Times: The Soviet Union and the Interwar Conjunction // *Kritika*. 2000. Vol. 2. № 1. P. 111–164.

<sup>56</sup> *Slezkine Yu.* The Jewish Century. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2004; spec. c. 1, 2, 44, 99, 175, 199, 240–241, 263. Цитаты даны по русскому переводу С.Б. Ильина: *Слэзкин Ю.* Эра Меркурия. Евреи в современном мире. М.: Новое литературное обозрение, 2007.

<sup>57</sup> *Brown K.* A Biography of No Place: From Ethnic Borderland to Soviet Heartland. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2004. P. 2, 4.

них – бунт против традиции (изначально свойственный модернизму в искусстве); глубокие изменения в восприятии пространства и времени; формирование ключевой идеи – идеи общества, сопряженное с кристаллизацией гуманитарных наук; переосмысление и осознание возможности действия в эпоху секуляризации; наконец, сопутствующее им изобилие грандиозных замыслов по перекройке общества, культуры и человека.

Для послевоенной социологии модернизация по существу была синонимом вестернизации. В случае с современным пониманием модерности это необязательно так. Социолог Ш.Н. Эйзенштадт, один из главных поборников понятия множественных модерностей, писал о «культурной программе модерности», истоком которой является осознание независимости человека и которая поэтому порождает новую способность ставить под вопрос ключевые онтологические концепции, доминирующие в определенном обществе или цивилизации. Но поскольку эти цивилизации могут не относиться к западным, «одной из важнейших посылок термина „множественные модерности“ является то, что модерность и вестернизация не тождественны; западные варианты модерности не являются единственно возможными или „подлинными“, хотя исторически первичны»<sup>58</sup>. Представители первого поколения исследователей, в 1990-е и 2000-е годы писавшие о модерности на русской почве, волей-неволей стали участниками методологического движения в сторону «множественных модерностей», даже если Эйзенштадт и его концепция не привлекли их внимания.

У этого кажущегося парадокса две причины. Во-первых, делая эту концепцию плюралистичной, Эйзенштадт и его коллеги до некоторой степени подытоживали мысль о множественности исторических траекторий, содержащуюся во многих недавних работах о модерности. Во-вторых, постсоветский интерес к модерности в российском и советском контексте по своей природе требовал не ассоциировать модерность исключительно с либеральной демократией и рынком, самим по себе тесно связанным с историей Запада. Введение концепции модерности (и – по умолчанию – множественных путей к модерности) в поле российско-советской историографии означало, что исследователи, намеренно или нет, начали работать на трех макроуровнях анализа: родовом, нелиберальном и цивилизационном. С точки зрения родового анализа, если модерность не является исключительно продуктом Запада или либерализма – а это неизбежное следствие утверждения о модерности в России / СССР, – понятие модерности надо расширить в географическом и политическом плане, включив в него незападные и нелиберальные системы, однако сам факт причисления любого подобного государства к современным подразумевает наличие по крайней мере каких-то общих или взаимосвязанных свойств модерности, которые можно обнаружить во всех современных системах. Приверженцы нелиберального анализа полагают, что, коль скоро советский коммунизм расценивается как вариация на тему модерности, требуется объяснить, каким образом диктаторские и антилиберальные (а в случае СССР еще и нерыночные) системы могли при этом быть современными. Эта точка зрения вызвала особый интерес к литературе о националистической модерности и сформировала – поскольку речь шла о коммунизме – концепцию не родовой, а особой нелиберальной модерности, таким образом развернув по-новому классическую дискуссию о тоталитаризме. Цивилизационный тип анализа подразумевает, – если мы согласны, что модерности не просто переносятся с Запада в другие страны в своем первоначальном виде (то есть если мы принимаем утверждение об их множественности), – что Россия создала самобытную или в чем-то

---

<sup>58</sup> Eisenstadt S.N. Multiple Modernities // *Daedalus*. 2000. Vol. 129. № 1. P. 1–29, цитата: P. 2–3. На самом деле эта концепция нашла поддержку у социологов по всему миру и повлекла за собой критику «европоцентрических теорий модерности» (*Kaya I. Modernity, Openness, Interpretation: A Perspective on Multiple Modernities // Social Science Information*. 2004. Vol. 43. № 1. P. 35–57). О колониальных и незападных модерностях см.: *Chatterjee P. The Nation and Its Fragments: Colonial and Postcolonial Histories*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1993; *Chatterjee P. Omnibus*. Oxford: Oxford University Press, 1999; *Chakrabarty D. Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2000.

отличающуюся форму модерности. Эта самобытность должна вытекать либо из ее собственного долгого исторического пути (что снова вызывает в памяти тезис о преемственности или по крайней мере надежды переломного 1917 года), либо из ее коммунистической системы, что, в свою очередь, отсылает к концепции «сталинизма как цивилизации», если воспользоваться подзаголовком книги Стивена Коткина «Магнитная гора»<sup>59</sup>. Таким образом, первичной волне научного интереса к модерности изначально сопутствовала определенная установка на непохожесть и самобытность на фоне общих критериев сравнения (и неотрадиционалисты тоже, как мы увидим, всегда могли бы прибегнуть к доводу, что неотрадиционализм – особая разновидность модерности, как бы они ни подчеркивали отличия советского строя). Однако настолько явной была эта первоначальная попытка при помощи модерности найти связь между Россией / СССР и другими странами, что интерес к частным аспектам модерности в данном контексте не получил развития в то время и большей частью остался скрытым от участников дискуссии.

Задача усложнялась за счет того, что эти три измерения, заложенные в первом поколении исследований модерности, включали в себя ряд теоретических и исторических переменных, что делало ее попросту неподъемной. Добавляет трудностей еще то обстоятельство, что недостаточно декларировать понятие единой *советской* модерности, поскольку сталинизм быстро эволюционировал по сравнению с некоторыми чертами революционного государства на раннем этапе и отверг либо перестроил наиболее утопичные (и, с точки зрения культурной интеллигенции, модернистские) проекты переделки человеческой природы и общества. В результате «модерная» школа стала удобной мишенью для справедливых замечаний относительно бесформенности и расплывчатости понятия модерности. По всей видимости, мало кто – если вообще кто-либо – сознавал, что решить эту дилемму и продвинуться в научном поиске можно, сосредоточившись именно на чертах развития России и СССР, которые могли бы быть названы одновременно современными и самобытными.

На самом деле некоторые историки из тех, кто первым заговорил о российской / советской модерности, одновременно с концепциями самобытности России / СССР разработали критерии сопоставления<sup>60</sup>. Однако они сделали это, имея в виду определенную цель – и совершенно по-разному. Коцонис главной отличительной особенностью России считал устойчивость сословности и огромную степень обособленности крестьян, которой противостояли и в то же время способствовали даже сторонники модернизации; для Холквиста это большевистская идеология, определявшая, каким образом применялись современные практики, и диктовавшая продолжение мобилизации даже после катастрофы 1914–1921 годов; с точки зрения Коткина, здесь мы имеем дело с переизбытком модерности, поскольку отмена частной собственности и плановая экономика позволяли СССР с невиданным размахом претворять в реальность фордизм на производстве, хотя – история коварна – советская модель и устарела в послевоенную, постиндустриальную информационную эпоху<sup>61</sup>. Однако вопрос остается открытым: каким образом тенденция помещать российскую / советскую модерность в контекст сравнения – что исключительно ново для области, где, как принято было считать, господствуют уникальность, отсталость и инаковость, – может помочь полноценно исследовать своеобразие

---

<sup>59</sup> Kotkin S. *Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization*. Berkeley: University of California Press, 1995.

<sup>60</sup> Дэвид Хоффман в именной колонке «От редактора» в журнале *Russian Review* выразил надежду, что в области советской истории появится больше сопоставительных исследований, проливающих свет как на специфические, так и на более универсальные черты советской системы» (*Soviet History in Comparative Perspective // Russian Review*. Vol. 57. № 4. 1998. P. vii–viii).

<sup>61</sup> Kotsonis Y. *Making Peasants Backward*. Spec. p. 32, 185; Kotkin S. *Modern Times*. Spec. p. 118. Питер Холквист сделал заметный шаг к тому, чтобы переместить акцент на соотношение контекста (обстоятельств) и идеологии (намерения) в противовес трактовке, обособляющей идеологию как отдельный фактор (*Holquist P. Violent Russia, Deadly Marxism? Russia in the Epoch of Violence, 1905–1921 // Kritika*. 2003. Vol. 4. № 3. P. 627–652). В этой статье, а также в своей книге (*Making War, Forging Revolution: Russia's Continuum of Crisis, 1914–1921*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2003) он воздержался от открытой поддержки концепции модерности, очевидно, не без оснований полагая, что это отвлечет внимание от других доводов.

России / СССР и их культурные отличия во всей многомерности? Коткин, Холквист, Коцонис, Хоффман и другие изначально сравнивали Россию / Советский Союз почти исключительно со странами Западной Европы<sup>62</sup>. Конечно, в своих сравнениях они часто сосредоточиваются на тех современных чертах, которые историки усмотрели в нацистской Германии, долгое время воспринимавшейся как отклонение от модерности. Это обстоятельство, а также сам факт анализа модерности на российской / советской почве позволили «модерной» группе косвенным образом содействовать ослаблению концептуальных связей между модерностью и Западом, как мы видели в работе Эйзенштадта. Только у Коткина мы находим не-западное государство, часто оказывающееся в сопоставительном поле, – Японию. В 2010-х годах начались изменения и сложилось то, что можно было бы назвать вторым поколением изучения модерности<sup>63</sup>.

Изначальная постсоветская одержимость модерностью также оставила после себя работы, уязвимые в том отношении, что они уделяли больше внимания дискурсу в противовес практике, государству, а не обществу, намерениям, а не результатам. Как писал Рональд Григор Суни в авторитетной «Кембриджской истории России» 2006 года: «Говоря схематично, сторонники модерности подчеркивали общность между Западом и Советским Союзом, а неотрадиционалистов восхищало то, что делало СССР самобытным. Модерность была направлена на ту область дискурса, в которой идеи прогресса и покорения природы вели к государственной политике, поддерживающей освоение и заимствование ценностей Просвещения. Неотрадиционализм скорее интересовался социальными практиками, вплоть до поведения обычных людей в повседневной жизни»<sup>64</sup>. Иначе говоря, речь идет о том же разграничении, которое Фредерик Купер в колониальном контексте проводил между модерностью как условием и модерностью как позиционированием себя<sup>65</sup>.

Однако резкость, с какой Суни противопоставляет дискурс и поведение, государство и общество, представляется намеренно чрезмерным упрощением. В конце концов, такие исследователи, как Коткин и Холквист, подчеркивали свой интерес к практикам. Некоторые постсоветские приверженцы модерности не столько пренебрегали опытом социальной истории, сколько пытались преодолеть застывшую дихотомию государства и общества. Тем не менее Суни имел основания прийти к такому выводу, поскольку в постсоветской литературе о модерности внимание исследователей часто обращалось прежде всего на современные черты различных начинаний, которые по своей природе отвечали стремлениям элиты и которые, как правило, более очевидны, чем практические действия на нижнем уровне или более обширные модели культуры и мышления. Как создать систему, которая бы убедительно вместила в себя больше, чем государство, дискурс и идеологию?

Одна из особенностей советского коммунизма, отмеченная в числе прочих Коткиным, состояла в том, что в некоторых отношениях большевистская революция *предвосхитила* отдельные черты модерности XX века, например меры социального обеспечения. Это революционное предвосхищение образует интересный контраст со значительным отставанием на первых этапах освоения западных моделей, которое описывает Марк Раефф, когда в XVIII веке при Петре Первом в Россию импортировались черты центральноевропейского камера-

<sup>62</sup> Hoffmann D.L. *Cultivating the Masses: Modern State Practices and Soviet Socialism, 1914–1939*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2011. В этой книге, анализируемой ниже, Хоффман в значительной мере отстает от своих предшествующих работ.

<sup>63</sup> Например, Холквист высказал интригующую мысль, что стремление к очищению и преобразованию существующего социоэкономического порядка в России в 1914–1917 годах посредством мобилизации и продовольственных реформ аналогично попыткам Кемал-бея сделать экономическую жизнь «более турецкой» (Holquist P. *Making War*. P. 35). Первым обширным сопоставительным анализом России и Турции стала книга Авеля Рошвальда: *Roshwald A. Ethnic Nationalism and the Fall of Empires: Central Europe, Russia, and the Middle East, 1914–1923*. London: Routledge, 2001.

<sup>64</sup> Suny R.G. *Reading Russia and the Soviet Union in the Twentieth Century: How the ‘West’ Wrote History of the USSR // Cambridge History of Russia. Vol. 3: The Twentieth Century / ed. R.G. Suny. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. P. 5–66, цитата: P. 60.*

<sup>65</sup> Cooper F. *Modernity*. P. 114–115.

лизма XVII столетия. Как Раефф убедительно показал в своей работе, если проекты и модели были во многом сопоставимы, то «социоинституциональная матрица» модернизации в России существенно отличалась<sup>66</sup>. Эта формулировка подразумевает, что *взаимодействие* политического и идеологического проектов в рамках этой матрицы также должно быть в центре внимания. Изначальная склонность сторонников модерности сосредоточиваться на проектах и программах оставила место для неотрадиционалистов, сделавших акцент на неожиданных последствиях – в данном случае «отступлениях» сталинской эпохи.

Необязательно соглашаться с ключевой мыслью именно неотрадиционалистской критики – что проекты большевиков, столкнувшись с российскими реалиями, претерпели неожиданные модификации, приведя к восстановлению особенностей традиционного общества, – чтобы понимать, что следует обдумать выводы, к которым ведет применение социоинституциональной матрицы Раеффа к советской модерности. Необходимо разработать теорию модерности, сформировавшейся как результат сочетания и взаимодействия не просто модерных, но откровенно антилиберальных, антибуржуазных, антикапиталистических революционных преобразований и общества, лишенного полноценных представлений о либерализме, капитализме или буржуазии. Как вестернизация России предшествовала аналогичным процессам в большей части не-западного мира, так и эти ранние антибуржуазные настроения можно сравнить со схожими явлениями в ряде неевропейских стран. Более того, как показано в работе Холквиста об эпохе тотальной войны и революции, принудительное навязывание антибуржуазных настроений в основном небуржуазному обществу не означает, что тезис об отсталости можно просто приложить к невежественным массам, крестьянам или кому-либо еще, которые после 1917 года и Гражданской войны большей частью уже не были вне сферы политики<sup>67</sup>.

Для тех, кто занимался изучением советской и в особенности сталинской модерности, наилучшим пособием оказалась историческая литература о нацистской модерности. Однако не все осознавали, что использование подобного научного инструментария неизбежно ведет к противоречию, с которым раньше столкнулись специалисты по истории Германии и в силу которого модерность оказывается в одном ряду с разрушительными последствиями геноцида в рамках нелиберального или тоталитарного режима. На исследователей российской модерности, начавших изучать эту проблему в 1990-е годы, сильнее всего повлияла работа Зигмунта Баумана о модерности и Холокосте, в которой акцент делался на выстраивании этатистской системы и возделывании государственности<sup>68</sup>. Однако ряд новых посылок, высказанных в 2000-х годах, сместил Освенцим с парадигматической позиции, отведенной ему в размышлениях Баумана о модерности. Последующая волна изучения совершенно иного «расстрельного Холокоста» на Восточном фронте, а также в отдельных местностях, таких как печально известная польская деревня Едвабне, в которых локальные, сельские проблемы переплетались с идеологическими соображениями, делает проницательный анализ Баумана достоянием прошлого в той же мере, что и работы тех, кто перенес его на советскую почву<sup>69</sup>.

---

<sup>66</sup> *Raeff M.* The Well-Ordered Police State and the Development of Modernity in Seventeenth- and Eighteenth-Century Europe // *American Historical Review*. 1975. Vol. 80. № 5. P. 1221–1243, цитата: P. 1238. Однако Раеффа критиковали за то, что он больше внимания уделил теории камерализма, нежели практике, – см.: *Wakefield A.* The Disordered Police State: German Cameralism as Science and Practice. Chicago: University of Chicago Press, 2009.

<sup>67</sup> *Holquist P.* Making War.

<sup>68</sup> *Bauman Z.* Modernity and the Holocaust. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2000, orig. 1989. Сборник, в котором исследование России и Советского Союза помещены в контекст сравнения, отдал дань баумановскому «возделыванию государства» своим названием: *Weiner A.* Landscaping the Human Garden: Twentieth-Century Population Management in a Comparative Perspective. Stanford, CA: Stanford University Press, 2003. О «нелиберальной модерности» см.: *Weiner A.* Landscaping the Human Garden. P. 3. О «нелиберальной социалистической субъективности» см.: *Hellbeck J.* Revolution on My Mind: Writing a Diary under Stalin. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2006. P. 9.

<sup>69</sup> Фраза позаимствована у Патрика Дебуа: *Debois P.* The Holocaust by Bullets. New York: St. Martin's Press, 2008; отсылка к книге Яна Гросса: *Gross J.* Neighbors: The Destruction of the Jewish Community in Jedwabne, Poland. New York: Penguin Books, 2002. См. также мой анализ критики Баумана Майклом Манном (ниже).

Специалистам по истории России, которые постоянно оказываются перед соблазном выборочных заимствований из немецкой историографии, нужен более обширный инструментарий. Теперь мы понимаем, что дискуссия о модерности на советской почве в первом поколении была отмечена удивительными параллелями, а возможно, и непосредственным влиянием более ранних немецких споров об «особом пути» (*Sonderweg*). Среди историков Германии некоторые подчеркивали устойчивость предшествующих модерности черт (в то время как советские неотрадиционалисты, как мы позже увидим, постулировали их периодическое возрождение). Склонные к сопоставительному мышлению историки Германии возражали, что явления до-модерного периода существовали во многих обществах, и оспаривали модель единого Запада, опираясь на аргументы, аналогичные тем, что позже использовали приверженцы модерности на российской почве. Критикуя, как известно, тезис об «особом пути», Дэвид Блэкборн говорил о том, что следует «рассматривать историю Германии как нетипичную, но не единственную в своем роде», историю, терминологию которой почти дословно воспроизвели в литературе о модерности, недооценивая «особый путь» России<sup>70</sup>.

Еще одно сходство: связь между Холокостом и модерностью оказалась сложным и весьма неоднозначным историографическим феноменом, предвосхитившим острые разногласия по поводу советской модерности. В конце 1980-х – начале 1990-х годов во многих немецких работах нацизм помещался в контекст модернизации. Например, Гёц Али и Сюзанна Хайм в своем исследовании подчеркнули экономические и демографические мотивы Холокоста, считая его движущими силами, таким образом, капиталистические рационализм и утилитаризм, на которых ранее делали акцент представители Франкфуртской школы. Известные критики этих доводов, в том числе Ханс Моммзен, в ответ – во многом подобно советологам-неотрадиционалистам – отрицали связь между режимом и модерностью, настаивая на том, что в данном случае мы имеем дело лишь с частичным или стратегическим вовлечением элементов модерности<sup>71</sup>. В то время как отсылки к нацизму в дискуссии о советской модерности оказываются на первом плане, параллели с итальянским фашизмом по сей день остаются практически не изученными<sup>72</sup>.

Те, кто впервые заговорил о сталинской модерности, не учитывали того обстоятельства, что высказанные ранее доводы относительно нацистской модерности были противоречивы и в определенном смысле критично трактовали современную цивилизацию, в которой оказались возможны чуждые разуму злодеяния. На самом деле отголоски критики современной цивилизации несложно найти и в советской историографии – начиная с мысли Коткина, сформулированной им в предисловии к знаменитой «Магнитной горе», об эпохе Просвещения и ее утопическом мировоззрении как ключевых для понимания сталинизма факторах и заканчивая связью, которую Хоффман усматривает между «ценностями сталинизма» и предшествующими им идеями Просвещения<sup>73</sup>. В этом плане, если чуть пристальнее приглядеться к некоторым фрагментам постсоветской литературы, нас подстерегает не выраженный напрямую политический итог, тот же, к которому в свое время вновь и вновь приходили немецкие критики нацистской модерности: если столь убийственный режим так тесно связан с типичными для современного Запада процессами, значит, сама по себе модерность отчасти ответственна за кошмары этого режима, а не просто варьируется и претерпевает какие-то модификации в зави-

---

<sup>70</sup> Blackbourn D. The Discreet Charm of the Bourgeoisie: Reappraising German History in the Nineteenth Century // Blackbourn D., Eley G. The Peculiarities of German History: Bourgeois Society and Politics in Nineteenth-Century Germany. Oxford: Oxford University Press, 1984. P. 292.

<sup>71</sup> Aly G., Heim S. Vordenker der Vernichtung: Auschwitz und die deutschen Pläne für eine neue europäische Ordnung. Hamburg: Hoffmann und Campe, 1991. См. анализ споров о модернизации и модерности в немецкой истории: Kershaw I. The Nazi Dictatorship: Problems and Perspectives of Interpretation, 4<sup>th</sup> ed. London: Arnold, 2000. P. 161–182, 243–248.

<sup>72</sup> См., например: Ben-Ghiat R. Fascist Modernities: Italy 1922–1945. Berkeley: University of California Press, 2001.

<sup>73</sup> Kotkin S. Magnetic Mountain. P. 6–9; Hoffmann D.L. Stalinist Values. P. 4, 7–8, 16, 18, 166, 187.

симости от государственного строя или страны. Несмотря на заявленное Холквистом намерение «определить, что специфического было в том, как характерные для Европы в целом признаки сочетались именно в России», критиков задела заключительная фраза его знаменитой статьи: «В той мере, в какой Советская Россия представляет собой проблему, это проблема современного проекта как такового»<sup>74</sup>.

Другие исследователи говорили не о параллелях между нелиберальными режимами, но о систематическом, угнетающем единообразии модерности независимо от политического или идеологического уклада. Кейт Браун, сравнивая современное «размеченное пространство» в жизни поселенцев Монтаны и советских ссыльных в карагандинском ГУЛАГе, писала, что «физический промышленный труд мало чем отличается при капитализме или при коммунизме, поскольку все тот же намеченный участок требует не только пространства, но и времени, производственного процесса и, следовательно, жизни... <...> В период с 1880 по 1900 год в Соединенных Штатах за работой умерло 700 тысяч рабочих... В период с 1934 по 1940 год 239 000 ссыльных погибло в советских трудовых лагерях»<sup>75</sup>. Опять же, стремление классифицировать сталинизм как типичную модерность грозило заглушить возможные доводы в пользу специфически российской / советской или присущих нелиберальным режимам исторических траекторий.

Споры вокруг нацистской модерности оказались поучительны не только в том отношении, что дали основание обвинять современную цивилизацию, но и в том, что помогли приблизиться к пониманию модерности в немецком контексте. К более ранним работам по истории Германии относится сборник эссе И.К. Пойкерта об оценке современности Максом Вебером (более известный в английском переводе) – «Рождение „окончательного решения“ из духа науки»<sup>76</sup>. Однако ранее в той же работе Пойкерт непосредственно обращается к концепции модерности, а также ее применимости к нацистскому режиму, высказывая мысль о двуликости современности. Рациональность была главной проблемой (*Grundproblem*) Нового времени, и в работах Вебера можно выделить по крайней мере четыре структурных элемента, определяющих облик современности: капиталистическая экономика и индустриальное классовое общество; рационально-бюрократический государственный порядок и социальное смешение; торжество науки и техники; наконец, рациональное и социально дисциплинированное устройство жизни. Но, как писал Пойкерт в своей критической статье, «любая современность, определенная исходя из произвольного сочетания этих признаков, может быть только противоречивой, поскольку обнаруживает непреодолимые разногласия». Двуликость модерности стала очевидна, когда в XX столетии на смену классической модерности пришли попытки преодолеть ее кризис, переживая ее и противостоя ей – от «Нового курса» до национал-социализма. Таким образом, нацистскую антипросветительскую разновидность модерности породила двулика,

---

<sup>74</sup> Holquist P. Information Is the Alpha and Omega of Our Work. P. 61. Последнее, но не предшествующее ему предложение цитирует Мэтью Лено: Leno M. Closer to the Masses: Stalinist Culture, Social Revolution, and Soviet Newspapers. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2004. P. 11.

<sup>75</sup> Brown K. Gridded Lives: Why Kazakhstan and Montana Are Nearly the Same Place // American Historical Review. 2001. Vol. 106. № 1. P. 17–48, здесь: P. 65, 68. Цифры, которые приводит Браун, преуменьшены даже по сравнению с официальной статистикой смертности. Но, как отмечали некоторые исследователи, статистика смертности в лагерях искусственно поддерживалась на низком уровне либо посредством прямой фальсификации, либо за счет практики, которая изначально была введена в 1930 году в соответствии с указаниями из центра, применялась на протяжении многих лет и состояла в регулярном освобождении заключенных на пороге смерти. См.: Khlevniuk O. History of the Gulag: From Collectivization to the Great Terror / trans. Vadim Staklo. New Haven, CT: Yale University Press, 2004. P. 78; Ellman M. Soviet Repression Statistics: Some Comments // Europe-Asia Studies. 2002. Vol. 54. № 7. P. 1151–1172, spec. P. 1151–1153; Alexopolous G. Health, Medicine, and Mortality in Stalin's Gulag [доклад, представленный на Русском историческом семинаре в Вашингтоне 4 ноября 2011 года].

<sup>76</sup> Peukert J.K. The Genesis of the 'Final Solution' from the Spirit of Science // Nazism and German Society, 1933–1945 / ed. D.F. Crew. London: Routledge, 1994. P. 274–299. Оригинальное издание: Peukert J.K. Die Genesis der 'Endlösung' aus dem Geist der Wissenschaft // Max Weber Diagnose der Moderne. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1989. S. 102–121.

противоречивая природа (*Janusköpfung*) модерности как таковой<sup>77</sup>. Петер Фрицше, продолжая и развивая мысль Пойкerta и Баумана, попытался переосмыслить «оценку фантастического видения национал-социалистов». Он сделал это, представив их не модернизаторами, а модернистами, превратившими «фрагментарность истории» в исходную посылку своих революционных расовых, политических и геополитических планов по перекраиванию тела нации (*Volkskörper*)<sup>78</sup>.

«Социология модерности» Петера Вагнера, заметная работа по сопоставительной исторической социологии, дополняющая Пойкerta, несправедливо осталась незамеченной в области исследований о России, как и большая часть литературы о множественных модерностях. Вагнер в своей работе не только поместил коммунистическую модерность в более обширный контекст, но и подкрепил тезис Пойкerta о «двуликости», последовательно пройдя по этапам модерности в разных странах. Вагнер также воспринимал межвоенный период как общий кризис ограниченных разновидностей модерности, появившихся на протяжении долгого XIX века. Новая эпоха массовой мобилизации и коллективной политики была отмечена «продолжительной борьбой за реорганизацию общества», в ходе которой часто звучали предложения, нацеленные на «большую степень социальной упорядоченности, нежели предписывала какая-либо либеральная политическая или экономическая теория». Уже не прежний индивидуализм, а настойчивое вмешательство государства определяло весь спектр коммунистического, фашистского, социал-демократического и либерального проектов. Вагнер не преуменьшал кардинальных различий между ними, но отметил их существенное идеологическое родство, обусловленное циркуляцией международных практик или влиянием специалистов, которые могли перемещаться между этими режимами или перестраиваться с одного на другой<sup>79</sup>. Акцент Вагнера на этапах модерности вкупе со сформулированной Пойкертот концепцией кризисов, сменяющих друг друга и вызванных внутренними противоречиями, кажутся особенно актуальными, когда речь идет о сталинизме – который представляет собой ключевую проблему во всех интерпретациях советской модерности, а также о переходах от нэпа к сталинизму и от позднего сталинизма к оттепели, центральных для советской истории. Но, как можно догадаться из сказанного выше, отголоски этих убедительных размышлений о фазах модерности почти не слышны в советской историографии.

С этими идеями Пойкerta и Вагнера тесно связан главный парадокс модерности, представляющий особенно трудную задачу для историков, но, опять же, редко рассматриваемый в исторической литературе о России: многие наиболее современные по своей сути проекты направлены против недугов современности или, по выражению Маршалла Бермана, надеются «исцелить раны современности современностью более полной или глубокой». Быть поистине современным означает – цитируя афоризм Бермана – быть антисовременным<sup>80</sup>. Лешек Колаковский в своем эссе «Современность на нескончаемом суде» указал, как часто исторические явления воплощают вместе и современность, и «сопротивление современности». Марксизм, писал он, комментируя пример Советского Союза, сочетал в себе стремление к рационализму и прикладным наукам с «тоской по архаичному обществу», в котором «обе системы ценностей сосуществовали бы и превратились в гармоничный сплав: современный завод и афинская агора должны были как-то слиться в единое целое»<sup>81</sup>.

---

<sup>77</sup> Peukert J.K. Max Weber Diagnose der Moderne. S. 64, 164. См. также книгу, посвященную Пойкертоту: Bajohr F., Johe W., Lohalm U. (eds.). Zivilisation und Barberei: Die widersprüchlichen Potentiale der Moderne. Hamburg: Christians Verlag, 1991.

<sup>78</sup> Fritzsche P. Nazi Modern // Modernism/Modernity. 1996. Vol. 3. № 1. P. 1–21.

<sup>79</sup> Wagner P. A Sociology of Modernity: Liberty and Discipline. London: Routledge, 1994. P. 62–67, цитата: P. 66. Развитие этой мысли в его же книге: Wagner P. Modernity: Understanding the Present. Cambridge: Polity Press, 2012.

<sup>80</sup> Berman M. All That Is Solid Melts into Air: The Experience of Modernity. New York: Penguin, 1988. P. 98, 14. См. более поздний и также двусторонний анализ модерности и модернизма в немецком контексте: Fritzsche P. Nazi Modern.

<sup>81</sup> Kotakowski L. Modernity on Endless Trial // Modernity on Endless Trial. Chicago: University of Chicago Press, 1990, orig.

Учитывая разнообразные варианты модерности, ее этапы и противоречия, которые нельзя не иметь в виду при серьезном рассмотрении этого понятия, вдобавок к специфическим задачам российской и советской историографии, мы можем оценить ограниченность первых постсоветских трудов о модерности с их односторонним акцентом на сопоставимости моделей государственного контроля. Разумеется, государство остается главным средоточием советских современных проектов (и снова мы наблюдаем параллели с двойственно воспринимающей модернизацию царской аристократией с ее периодическими попытками проводить реформы сверху), но об этом следует помнить, не забывая обо всем остальном<sup>82</sup>. В этом плане существует методологический риск попросту проигнорировать более общие, не относящиеся к государственному контролю черты модерности и посвященную им теоретическую литературу либо по умолчанию отнести их к либеральной модерности. Я имею в виду не просто аспекты модерности, ассоциирующиеся с гражданским обществом и рынком, но также волну противостояния традиции, связанную с урбанизмом и модернизмом в искусстве и восходящую к XIX веку. Огромное множество застылых, категоричных, косных черт советского коммунизма (в особенности позднего сталинизма) вступали в противоречие с мощной волной, ассоциирующейся с модернизмом / модерностью. Маршалл Берман, первопроходец на этом пути, выступил за то, чтобы извлечь на поверхность, с одной стороны, тщательно запечатанные элементы модернизации в политике и экономике, а с другой – «модернизм в искусстве, культуре и мировосприятии»<sup>83</sup>.

Советская идеологическая государственность и неуклюжее переплетение идеологии с наукой, культурой и образованием создают особые проблемы, поскольку они сформировали способности к развитию, которые некоторым, как, например, историку Дэвиду Джоравски, кажутся антитезой фрагментарности и плюрализму высокой современной культуры – воспринимаемая как по сути антисовременные. Как пишет социолог Й.П. Арнасон, в целом убежденный сторонник коммунистической модерности: «Воздействие всеобъемлющей и сковывающей идеологии (даже если она никогда не проникала в общественное сознание так глубоко, как исторические религии) уменьшало роль рефлексии в социальной жизни: способность анализировать проблематичные аспекты и последствия сопряженных с модернизацией процессов оказалась подорвана исходными ограничениями»<sup>84</sup>.

Можно предположить, что упоминаемая Арнасоном рефлексия – наряду со свободными от государственного вмешательства аспектами, такими как рыночная экономика и общество потребления, – просто не были ключевым или определяющим компонентом нелиберальной модерности или российской / советской цивилизации. Но тогда следует признать, что тенденция теории множественных модерностей исключать нежелательные черты модерности может сделать проблематичными встречающиеся в литературе отсылки к другим ее типичным особенностям. Одно из решений и ответ Арнасону – последовать логике Коткина: советская модерность в борьбе со своими конкурентами в конце концов обнаружила свою несостоятельность как альтернатива. По Коткину, в межвоенный период, в 1920-е и 1930-е годы, Советский Союз наряду с другими странами был в авангарде модерности, в чем-то даже предвосхищая ее

1986. P. 10.

<sup>82</sup> Помимо Баумана, упомянутого выше, существенное влияние на советскую историографию оказал Джеймс Скотт, отождествивший «высокий модернизм» с режимами усиленного государственного контроля. См.: *Scott J.C. Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed.* New Haven, CT: Yale University Press, 1998.

<sup>83</sup> *Berman M. All That Is Solid Melts into Air: The Experience of Modernity.* P. 88.

<sup>84</sup> *Joravsky D. Cultural Revolution and the Fortress Mentality // Bolshevik Culture: Experiment and Order in the Russian Revolution / ed. A. Gleason et al. Bloomington: Indiana University Press, 1985; Arnason J.P. Communism and Modernity // Daedalus. Vol. 129. 2000. No. 1 (Winter): Multiple Modernities. P. 68. См. также: Arnason J.P. The Future That Failed: Origins and Destinies of the Soviet Model. London: Routledge, 1993. В то же время некоторые усматривают в произвольности и относительности советской идеологической системы не антимодернизм и не высокий модернизм, а ранний советский постмодернизм (см.: *Epstein M. After the Future: The Paradoxes of Postmodernism and Contemporary Russian Culture / trans. Anesa Miller-Pogacar. Amherst: University of Massachusetts Press, 1995. P. 101, 194, 206*). Это лишь подчеркивает, как сложно вписать советскую культурную и идеологическую систему в более широкий сопоставительный контекст.*

движение; он остался позади, когда модерность, прежде всего в экономическом плане, после войны изменила свой вектор во всем мире, в результате чего многие части СССР превратились в отсталые. Коткин таким образом подчеркнул, что, хотя Советский Союз был модерным, речь в конечном счете шла о несостоявшейся модерности, и выводы из этого утверждения следует учитывать при дальнейшем анализе<sup>85</sup>. Однако послевоенный анализ сталинской реконструкции должен сопровождаться намного более систематическим анализом хрущевской оттепели, которую во многих отношениях можно считать апофеозом советского строя. Ученые обратились к тому же вопросу, которым они уже долгое время занимались в контексте поиска повода к революционной катастрофе 1917 года, соотнося внезапный конец системы с ее способностью к эволюции и объединению<sup>86</sup>.

В написанной им биографии Сталина Коткин развивает свою точку зрения на модерность как на международное соревнование. Анализируя ситуацию в царской России позднего периода, он пишет: «То, что мы называем модерностью, не было чем-то естественным или самоочевидным. Она предполагала приобретение труднодостижимых качеств: массового производства, массовой культуры, массовой политики, – присущих великим державам. Эти государства, в свою очередь, толкали другие страны к достижению модерности – или к последствиям неспособности ее достичь, вплоть до поражения в войне и риска колониального завоевания. <... > Иными словами, модерность являлась не социологическим процессом – переходом от „традиционного“ общества к „современному“, – а геополитическим: государство либо приобретало качества, необходимые для того, чтобы вступить в ряд великих держав, либо оказывалось их жертвой»<sup>87</sup>. Таким образом, переводя модерность из области социологии в область геополитики, подразумевающей необходимость держаться вровень с великими соседями, Коткин привлекает столь необходимое внимание к процессам постоянного перенятия чужого опыта, происходившим поверх границ. Но в духе эпохи социального дарвинизма, который он сейчас изучает, или в духе знаменитой речи Сталина 1931 года о необходимости догнать Запад Коткин изображает эти процессы упрощенно: достичь современных (прежде всего экономических, технологических, военных и в особенности политических) показателей или потерпеть крах. Однако учитывая, сколько политиков, исследователей, консультантов и специалистов заняты изучением зарубежных моделей, их освоением и массовым внедрением в общество на стадии модернизации, проблематика модерности в международном контексте достаточно сложна, чтобы обеспечить работой на ближайшие тридцать лет целую армию историков по всему миру. К тому же неясно, как одни государства принуждали другие строить массовую культуру – последнюю и наиболее обделенную вниманием составляющую триады Коткина, – особенно если учесть, как часто элита презирала или избегала ее<sup>88</sup>.

Анна Крылова, анализируя тезисы Коткина, обращается непосредственно к его утверждению, что советский вариант модерности остался далеко позади на фоне других стран, когда Сталин вернул послевоенную экономику к довоенным показателям. Крылова возражает Коткину, который, на ее взгляд, нарисовал полноценную картину застоя, хотя он высказал свои мысли относительно послевоенного периода скорее в виде предполагаемого вывода. Важ-

<sup>85</sup> Размышления Коткина о фордизме в «Новых временах» – один из немногих примеров непосредственного обращения к экономическому аспекту модерности в современной постсоветской литературе. Подробнее о том, как заимствованный фордизм был выборочно адаптирован и преобразован, превратившись в нечто совершенно новое, см.: *Cohen Y. Circulatory Localities: The Example of Stalinism in the 1930s // Kritika. 2010. Vol. 11. № 1. P. 11–45.*

<sup>86</sup> См. в особенности: *Bittner S.V. A Negentropic Society? Wartime and Postwar Soviet History // Kritika. 2013. Vol. 14. № 3. P. 599–619*, – где автор утверждает, «что послевоенный и постсталинский периоды отнюдь не были просто временем разрухи и упадка» (619).

<sup>87</sup> *Kotkin S. Stalin, I: Paradoxes of Power, 1878–1928. New York: Penguin, 2014. P. 62–63.*

<sup>88</sup> Массовая культура отсутствует в изначальном описании Коткиным «яростного геополитического состязания» (Stalin, I: 4–5). См. также важное утверждение: «Из всех промахов российского самодержавия в плане модерности ни один не был таким существенным, как несостоятельность авторитарной массовой политики» (130).

нее, однако, что Крылова оспаривает концепцию несостоявшейся, альтернативной советской модерности, намечая собственную модель, состоящую из двух периодов, которые она называет большевистским и советским и переходным временем между которыми – временем долгих, неравномерных изменений – оказываются 1930-е годы. Постбольшевистская советская версия модерности сформировалась как «урбанистический социалистический тип под влиянием среднего класса», отмеченный индивидуалистическими чертами, в отличие от более раннего коллективизма. Советское общество и его язык, в противовес советской экономике, скорее развивались, чем возвращались к привычным схемам 1930-х годов; послевоенные десятилетия стали временем, когда «современный обособленный и сосредоточенный на себе индивид», как и в других местах, превратился в «массовое социальное явление». Рассуждая таким образом, Крылова полагает, что понятию революционной большевистской альтернативы и, шире, концепции множественных модерностей должно прийти на смену представление о «неравномерном развитии» Советского Союза, «на самом деле включавшем в себя различные идеи и практики модерности»<sup>89</sup>.

Важно, что Крылова не упоминает 1991 год и конец советского социализма. Также следует отметить, что холодная война, совпадающая по времени с переменами, которые она описывает, была как раз тем периодом, когда многие развивающиеся страны стали относиться к коммунизму как к одной из моделей развития или альтернативному пути к модернизации<sup>90</sup>. Однако ясно, что в намеченной ею системе коллективистская, большевистская форма модерности тоже потерпела поражение как альтернатива, пусть и намного раньше. Ведь если большевистский этап постепенно и неравномерно в различных областях вытеснялся советской модерностью, которая, как считает Крылова, не расходилась с ситуацией других индустриальных обществ, тогда в чем мы должны видеть оригинальную проблему, кроме несостоявшейся альтернативы? Что бы мы ни думали о предложенной Крыловой последней вариации на тему «общей модерности», ясно одно: то почти исключительное внимание, которое первое поколение занимавшихся модерностью исследователей уделяло сталинской эпохе, должно остаться в прошлом<sup>91</sup>.

Подведем итоги: первая волна интереса к модерности в российской и советской историографии 1990-х и 2000-х годов вскоре столкнулась с рядом непростых проблем – и в то же время некоторых проблем избегала. Если говорить о первых, то прежде всего возникла необходимость отделить модерность от либерального Запада, опираясь при этом на литературу, где модерность рассматривалась именно в таком контексте; стало необходимо установить общие аспекты российской / советской модерности, не забывая о ее особом историческом развитии. Что касается второй категории, постсоветские исследователи уделяли недостаточно внимания этапам модерности и ее проблемам и редко извлекали пользу из концепций множественной или несостоявшейся модерности (в последнем случае – за исключением Коткина). Это не самые простые темы: например, концепция модерности Эйзенштадта, построенная на материале незападных цивилизаций, представляет собой двойную сложность для российской историографии, где, несомненно, так и не настанет согласие относительно того, насколько Россия была близка или чужда Западу еще до того, как Советский Союз попытался его перегнать. Но в результате того, что эти вопросы остаются без внимания, возникает историческая тав-

---

<sup>89</sup> Krylova A. Soviet Modernity: Stephen Kotkin and the Bolshevik Predicament // *Contemporary European History*. 2014. Vol. 23. № 2. P. 167–192, цитаты: P. 185, 186, 187, 191.

<sup>90</sup> Westad O.A. *The Global Cold War: Third World Interventions and the Making of Our Times*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. P. 3; о советской модели, воспринимаемой в других странах как одна из двух главных «альтернативных модерностей» и особая «дорога к высокой модерности», см.: P. 17, 25, 92, 172, 397 и в других местах. О «регулярной исключительности» как элементе определения социалистического государства см.: Péteri G. *The Occident Within – or the Drive for Exceptionalism and Modernity* // *Kritika*. 2008. Vol. 9. № 4. P. 929–937.

<sup>91</sup> Эту точку зрения высказывает и Штефан Плаггенборн: *Pluggenborg S. Schweigen ist Gold: Die Moderntheorie und der Kommunismus* // *Osteuropa*. 2013. Vol. 63. Nos. 5–6. S. 76.

тология: одни черты России или СССР, аналогичные тем, что мы видим в других современных обществах, служат доказательством модерности, а отсутствие других расценивается просто как признак собственного пути к особой форме модерности.

Из этой теоретической ловушки есть выход. Если исследователи будут исходить из осознания того, что модерности могут быть множественными, нелиберальными и не-западными, внутренне противоречивыми, способными к эволюции и затрудненными кризисом, – принимая во внимание, что советскую модерность, в конечном счете, нельзя воспринимать как альтернативную, – откроется возможность свободно изучать одновременно частное и модерное в контексте Советского Союза.

## О НЕОТРАДИЦИОНАЛИЗМЕ И ТРАДИЦИИ

Исследования неотрадиционалистской направленности зародились непосредственно в споре с тезисом о модерности. Как отметила в 2000 году Фицпатрик, неотрадиционализм основан на некоторых работах чикагских ученых о традиционных аспектах советского строя, прежде всего самой Фицпатрик, акцентирующей внимание на протекции и блате в «Повседневном сталинизме» и в «Принадлежности к классу», своей ключевой статье о возникновении «сословий» в Советском Союзе. Двое студентов самой Фицпатрик, Мэтью Лено и Терри Мартин, наиболее активно внедряли концепцию неотрадиционализма в советскую историографию<sup>92</sup>. Книга Лено «Ближе к массам», лучшая монография о мотивах и намерениях, обусловивших трансформацию печатных СМИ в межвоенный период, являла собой и наиболее развернутую неотрадиционалистскую аргументацию в контексте сталинизма. В центре этой работы, базирующейся на изучении архивных источников с точки зрения «сталинизации» советской прессы, находился период 1925–1932 годов. Эмпирическое исследование строилось вокруг создания кадров для новых форм так называемой «массовой журналистики» в условиях нэпа. Новая агитационная риторика, в основе которой лежали образы героического штурма, адресованные поколению юношей – потенциальных партийных работников, во время пятилетки распространилась, по сути, по всем печатным СМИ. Советские газеты, занятые нормированным распределением информации и нацеленные на то, чтобы мобилизовать партийные кадры для форсированной индустриализации страны, отказались от «массового просветительского проекта времен нэпа», целиком охватывающего народные массы, и тем более от ранних утопических целей создания Нового Человека. Поэтому Лено оставил без внимания государственные преобразовательные проекты, столь дорогие сторонникам модерности (или, как в случае со сталинской «перековкой», даже не обсуждал их). Вместо этого он утверждал, что, как показывает история советских газет, стратифицированное, ориентированное на подготовку кадров и статус советское общество уже сложилось в период раннего сталинизма, проложив путь к дальнейшим отступлениям в конце 1930-х годов<sup>93</sup>. Хотя я не буду здесь останавливаться на эмпирических доводах Лено, следует отметить, что вопрос об отчетливой границе, которую он усмотрел между утопизмом времен нэпа и мобилизацией сталинской эпохи, остается открытым. В особенности это касается выводов Лено о полном отказе от формирования Нового Человека, основанных на рассмотрении относительно короткого хронологического периода (периода первого пятилетнего плана, когда на повестке дня оказалась жизнеспособность режима) и изучении газетных материалов, а не каких-то других направлений культуры (в особенности литературы и образования)<sup>94</sup>.

---

<sup>92</sup> *Fitzpatrick Sh.* Introduction. P. 14 n. 29.

<sup>93</sup> *Lenoe M.* Closer to Masses. См. также: *Lenoe M.* In Defense of Timasheff's Great Retreat // *Kritika*. 2004. Vol. 5. № 4. P. 721–730.

<sup>94</sup> Подробнее об этом см. в моей рецензии на книгу Лено «Ближе к массам»: *Journal of Cold War Studies*. 2007. Vol. 9. № 1. P. 161–164.

Именно этот переход от утопизма нэпа к сталинской мобилизации Лено определил как исток неотрадиционализма. Прибегая к категориям Вебера, в рамках которых эта концепция развивалась в социологии 1980-х годов, Лено высказал мысль, что ранний советский режим был основан на «безликой харизме» партии, в отличие от рационально-правового порядка либерального Запада. При Сталине этот режим вылился в неотрадиционалистские формы государства и общества, а именно в «иерархическое общество, разделенное на некоторое число обладающих тем или иным социальным статусом групп или сословий»<sup>95</sup>.

Что характерно, свой упрек в адрес тезиса о модерности, который «скорее вводит в заблуждение, чем проясняет что-либо», Лено аргументировал исключительно различиями между советским строем и западными либеральными демократиями, косвенно отрицая, хотя и неосознанно, возможность не-западных или множественных модерностей. Лено допускал, что в самом общем смысле советские газеты могли участвовать в массовой «коммуникативной революции», оперировавшей новыми формами и технологиями (тезис, развиваемый Коткиным в «Новых временах», которые Лено не упоминает), но полагал, что на международном фоне агитпроп и советские газеты оставались уникальным феноменом. Таким образом, наиболее значительным шагом Лено в сопоставительном плане было то, что он подчеркнул различие между советским агитпропом и современной ему североамериканской «наукой» о связях с общественностью<sup>96</sup>. Как писал Лено: «Постмодернистские заявления о господстве дискурса и микропрактик власти над личностью и миром послужили поводом для недавних теорий, согласно которым Советский Союз, Российская империя и „западные„ либеральные демократии имеют или имели между собой нечто общее, называемое „модерностью“, из чего, в свою очередь, делалось множество искаженных выводов. Приверженцы „общей модерности“ утверждают, что различия между ленинским и либерально-демократическим режимами в формах собственности, степени принуждения и политическом устройстве не так важны, как кажется»<sup>97</sup>.

Таким образом, отрицание модерности у Лено было ответом на косвенные сравнения между либерализмом и коммунизмом. Для него «советская модерность» означала общую с Западом модерность. Из трех элементов, на которых изначально строилась в научной литературе дискуссия о российской / советской модерности и которые перечислены здесь, он взялся оспаривать общую, или родовую, модерность, игнорируя возможность двух других типов – нелиберального современного строя или особого российского / советского пути к модерности. Кроме того, как видно из приведенной цитаты, Лено ставил в вину сторонникам модерности близость к постмодернизму. Постмодернизм, широко обсуждаемый в период своего расцвета в 1990-е годы (в том числе и теми, кто скептически относился к этому термину или явлению), действительно оказал влияние на представления о модернизме и модерности<sup>98</sup>. Однако между осознанием этой связи и утверждением, что работы Коткина, Холквиста, Коцониса, в разной степени подвергшихся влиянию Фуко, тоже были постмодернистскими, существует огромная разница. Говоря более широко, литература о модерности с самого начала вбирала в себя множество направлений истории и социальных наук, не связанных с дискурс-анализом или постструктурализмом<sup>99</sup>. Объясняя, почему он предпочитает называть советский строй не современным, а неотрадиционалистским, Лено заявил, что советская система представляла собой «полноценную альтернативу модерности богатых либеральных капиталистических стран» с

---

<sup>95</sup> *Lenoe M. Closer to Masses. P. 251.*

<sup>96</sup> *Ibid. P. 5–7, 247.*

<sup>97</sup> *Ibid. P. 4–5.*

<sup>98</sup> См., например: *Hutcheon L. (ed.). A Postmodern Reader. Albany: State University of New York Press, 1993. Part 1 ('Modern / Postmodern')*.

<sup>99</sup> Например, Фицпатрик отметила влияние социологии на сторонников модерности, которое едва ли можно назвать постмодернистским, включая Норберта Элиаса и Джеймса Скотта (*Introduction. P. 8*).

«особым путем развития индустриальной модерности»<sup>100</sup>. Хотя Лено в данном случае подтверждает, что отождествляет модерность с западной либеральной демократией и рыночной экономикой, фраза об особом пути с таким же успехом могла быть написана поборником концепции множественных модерностей.

Подобные пробелы в рассуждениях Лено легче понять, если мы вспомним, что теоретической почвой, на которой вырос неотрадиционализм Лено и Мартина, была социология 1980-х годов. Оба ссылались на написанное в 1983 году эссе Кена Йовитта как источник своей концепции неотрадиционализма и обращения к категориям Вебера для осмысления советского правопорядка. В этой работе Йовитт анализировал «поразительное сочетание харизматических, традиционных и современных черт в советских учреждениях». Он полагал, что «элементы модерности» были «неотъемлемой составляющей» коммунистических режимов, но их положение в этом сочетании наделило «советскую политику / экономику» совершенно «новым качеством». Йовитт в 1983 году возражал в первую очередь тем, кто «ошибочно считал Советский Союз просто разновидностью западной модерности», критикуя прежде всего сторонников теории конвергенции. Элементы модерности – под которыми он подразумевал «секулярные, эмпирические, индивидуальные» векторы и практики – не были чужды советскому коммунизму, но подчинялись «харизматическим и традиционным» особенностям уникальной системы. Иными словами, для Йовитта модерность означала рациональную, светскую и безличную рыночную систему, нечто, что в контексте «безличной / индивидуализированной предсказуемости и стандартизации рыночной экономики и избирательной политики» воспринималось как противоположность индивидуалистичной советской экономики и политических отношений<sup>101</sup>. Для Йовитта советский неотрадиционализм подразумевал избирательное и частичное усвоение современных (западных) элементов.

Наиболее существенной работой из тех, на которые опирались Лено и Мартин, было исследование китайской промышленности Эндрю Уолдера, «Коммунистический неотрадиционализм», представляющее несколько иной взгляд на сочетание традиционного и современного в коммунизме, но выросшее из размышлений над теоретическими проблемами, сходными с теми, которые занимают Йовитта. Во вступительной главе, посвященной неотрадиционализму, Уолдер обосновал эту концепцию, ссылаясь на необходимость признать «особое социальное устройство современного коммунизма», для которого характерна «богатая культура инструментально-личных» и покровительственно-зависимых связей, нужных для обхода формальных установлений относительно жилья и торговли. Он подчеркнул (как сделали и Мартин с Лено), что неотрадиционализм не означает «несовременный»; основываясь на работах о модернизации, написанных в конце 1960-х годов, он – в отличие от Йовитта – усмотрел в них отсутствие единого представления о модерности. Причина, по которой наименование «традиционализм» закрепилось за своеобразным устройством коммунистического общества, кроется скорее в западной социологии, которая использует понятие «традиционный», чтобы обозначить зависимость, почтительность и самобытность в противовес безличным, договорным и универсальным формам власти. Таким образом, неотрадиционализм Уолдера, обладавший чертами, которые принято считать предвестниками модерности, был одновременно современным и уникальным. Главная цель Уолдера заключалась в том, чтобы отграничить неотрадиционализм от теории тоталитаризма (то есть показать, что отношения протекции и зависимости были важнее террора) и плюралистических теорий / теорий групп интересов 1960–1970-х годов (согласно данной модели, коммунистические институты сами формировали социальную структуру, а не наоборот). Уолдер, вероятно, показался специалистам по истории Советского Союза

---

<sup>100</sup> *Lenoe M. Closer to Masses. P. 253.*

<sup>101</sup> *Jowitt K. Neo-Traditionalism // New World Disorder: The Leninist Extinction. Berkeley: University of California Press, 1992. P. 121–158, цитаты: P. 123, 124–125, 125–126, 128, 131. Это эссе первоначально было опубликовано в издании: Soviet Studies. 1983. Vol. 35. No 3. P. 275–297.*

особенно убедительным тем, что делал акцент на реальном положении вещей на практике, а не на официальных сведениях, внося свой вклад в дискуссию о словах и действительности, планах и незапланированных последствиях, которые остаются ключевой темой советской историографии.

Проводя границу между своей моделью и современными ей тенденциями – теориями тоталитаризма и групп интересов, – Уолдер также стремился прежде всего опровергнуть теорию конвергенции: «Предполагается ли измерить эту конвергенцию в среде, где соседствуют своеобразное и универсальное, данность и достижение, традиция и модерность или же тоталитаризм и плюрализм, попытка определить степень различия обречена на неудачу. Ни одно из этих понятий не может служить для адекватного описания социальной структуры современного коммунизма»<sup>102</sup>. Резкую критику Уолдером этих основных бинарных оппозиций, в особенности противопоставления традиционного модерному, стоило бы внимательнее прочесть его позднейшим неотрадиционалистским последователям, однако следует подчеркнуть, что работы как Йовитта, так и Уолдера предшествовали развитию концепции множественных модерностей в социальной теории и концепции нелиберальных модерностей в исторической науке. И Йовитт, и Уолдер оспаривали социологические теории, сглаживающие различия между коммунизмом и другими типами устройства общества, однако акцент на различии исторических траекторий и систем стал неотъемлемым элементом более поздних концепций.

Йовитт и Уолдер расходились и друг с другом. По Йовитту, элементы модерности подчинялись однозначно немодерной, традиционной системе, создавая резкую, отчетливую границу между традиционным и модерным, положение которой разные историки могли определять по-разному. С точки зрения Уолдера, форма, составленная из элементов, которые в социологии считались традиционными или модерными, сама могла быть модерной – только она была своеобразной и уникальной.

Таким образом, Йовитт и Уолдер оказались замешаны в спор, участники которого считали их сторонниками самобытности и уникальности коммунизма. Лено и Мартину, писавшим свои работы двадцатью годами позже, а также всем, кого продолжает привлекать концепция неотрадиционализма, следовало бы задуматься о том, что ни различия, ни смешение модерного и традиционного не являются недопустимыми в рамках теории множественных или альтернативных модерностей. На самом деле можно с легкостью утверждать, что все современные системы переживали сосуществование и конфликт с сохраняющимися домодерными или традиционными практиками. Кроме того, в начале этого рассуждения одно из направлений в существующей литературе о модерности в российской / советской историографии было названо цивилизационным; при этом подразумевается, что путь к модерности отчасти должен строиться в соответствии с характерными для России схемами или новой советской цивилизацией. По иронии судьбы, эта линия аргументации «модернистов» – то есть как раз та, которая в наибольшей степени приближается к неотрадиционализму с его акцентом на своеобразии, – осталась не замеченной как Лено, так и Мартином. Обратимся теперь к работе последнего, который в 2000 году заявил о превосходстве неотрадиционализма над модернизацией – не модерностями, множественными или какими-то еще – в своей известной статье «Модернизация или неотрадиционализм? Приобретенная национальность и советский примордиализм».

Основная цель проведенного Мартином анализа состояла в том, чтобы указать на роль непредвиденных последствий в повороте к этническому примордиализму, пришедшему на 1930-е годы. По его мысли, советский режим определял население в категориях национальности, чтобы подготовить почву для проведения политики коренизации в 1920-е годы; благодаря паспортам национальность превратилась в наследственную характеристику; наконец, массовая

---

<sup>102</sup> Walder A.G. *Communist Neo-Traditionalism: Work and Authority in Chinese Industry*. Berkeley: University of California Press, 1986. Spec. P. 7–10.

«материализация» категорий, которые теоретики режима первоначально считали искусственными конструктами, в 1930-е годы подлила масла в огонь жестокого государственного культа «народности». Непредсказуемые последствия переплелись с более обширными процессами в советском обществе<sup>103</sup>. Мартин пришел к выводу, что стоящие за этой реконструкцией данные «определенно свидетельствуют в пользу неотрадиционалистской парадигмы». Под последней он подразумевает «альтернативную форму модернизации, которая включает в себя процессы, наиболее типичные для модернизации под воздействием рынка (индустриализацию, урбанизацию, секуляризацию, всеобщее образование и насаждение грамотности), но которой при этом присущ ряд практик, обладающих поразительным сходством с характерными чертами традиционных домодерных обществ». Закончил статью Мартин часто цитируемой фразой: «Модернизация – это теория советских планов; неотрадиционализм – теория их незапланированных последствий»<sup>104</sup>.

Три особенности этой аргументации обращают на себя внимание. Во-первых, для Мартина, как и для Лено, модерность была синонимом западной модели развития, и он не учитывал возможность нелиберальной или незападной модерности. Частые отсылки к модернизации под воздействием рынка, как в приведенном отрывке, заставляют задаться вопросом, не противопоставляет ли Мартин далее англо-американскую модель континентальной; государственное вмешательство в экономику необязательно должно быть связано со сталинизмом, Советским Союзом или Россией. Во-вторых, Мартин соотнес возвращение к изначальному пониманию русской национальности в 1930-е годы с «устойчивостью в коммунистических обществах традиционных домодерных практик», таких как иерархичность и личностные отношения. Мартин, как и Йовитт, считал преобладание социальных и этнических иерархий в противовес уравнивающему универсализму ключевым признаком традиционализма. Но можно ли говорить, что это явления одного порядка, если другие современные общества не чуждались этнического примордиализма? Или в этих обществах, которые Мартин счел бы подлинно современными, тоже был зазор между намерениями и действительностью? Учитывая сущность его доводов, удивительно, что он совсем не затронул дореволюционный период. Те, кто в первую очередь призвал обратить внимание на традиционные или домодерные элементы советского строя, совершенно не стремились изучать традицию – которая сама по себе, как и модерность, едва ли является однозначным, лаконично объяснимым и не вызывающим затруднений понятием<sup>105</sup>.

На самом деле определение традиции остается одним из самых насущных вопросов для любой неотрадиционалистской теории. Барбара Уокер поставила под сомнение отсылку Терри Мартина к Уолдеру: «Неотрадиционализм, как его определил Уолдер, явно внеисторичен, он исключает какой-либо интерес к данной в реальности, локальной истории подобных „традиционных“ явлений»<sup>106</sup>. Пренебрегая традицией в лице Российской империи до 1917 года, неотрадиционалисты лишают себя некоторых убедительных возможностей показать связь между советским периодом и более старыми моделями развития, как бы они в конечном счете ни назывались. В действительности именно то, что сторонники неотрадиционализма усмотрели в Советском Союзе межвоенного периода, – сочетание переплетающихся традиционных и современных элементов, или параллельное развитие различных политических и социальных

---

<sup>103</sup> *Martin T. Modernization or Neo-Traditionalism? Ascribed Nationality and Soviet Primordialism // Russian Modernity. P. 161–184* (также опубликовано в книге: *Fitzpatrick Sh. Stalinism*). Дальнейшее развитие эти положения получили в его подробном исследовании советской политики в национальном вопросе: *Martin T. The Affirmative Action Empire: Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923–1939. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2001.*

<sup>104</sup> *Martin T. Modernization or Neo-Traditionalism? P. 175, 176.*

<sup>105</sup> См. об этом: *Brown K. A Biography of No Place. P. 80.*

<sup>106</sup> *Walker B. (Still) Searching for a Soviet Society: Personalized Political and Economic Ties in Recent Soviet Historiography // Comparative Studies in Society and History. 2001. Vol. 43. № 4. P. 631–642, цитата: P. 634.*

форм, соотносящихся с несколькими историческими этапами, – породило некоторые из наиболее глубоких и выдающихся исторических трактовок царской и революционной России<sup>107</sup>.

Наконец, хотя, описывая «неотрадиционалистские» феномены, такие как навязанное самоопределение и личностные связи, Мартин обозначил их как «домодерные», он в то же время стремился оспорить наличие у СССР ценностной преемственности по отношению к России, ссылаясь на предельно усиленный в Советском Союзе государственный контроль как причину возникновения этих феноменов<sup>108</sup>. Поэтому Мартин так и не сделал выбора между Йовиттом и Уолдером: когда он пытался представить неотрадиционализм как лучшее определение советского строя, он (подобно Йовитту) сделал акцент на до-модерных чертах сталинизма; когда он хотел показать, что неотрадиционализм был не просто возвращением к российской традиции, он (как и Уолдер) повернул обратно и пришел к заключению, что и он был по-своему современным. Модернизация под воздействием рынка, на фоне которой Мартин развернул свою аргументацию, не может противостоять тому возражению, что модерное, продиктованное государством воплощение традиционных элементов вписывается в концепцию множественных модерностей. Эта возможность тем более поражает, что не только этнический, но и расовый примордиализм – и, если говорить о нацизме, в том числе наиболее агрессивные формы навязывания расовых категорий, – преобладал в современной политике межвоенного периода.

## ПЕРЕКЛИЧКИ И СХОДСТВА

Столкновение между концепциями модерности и неотрадиционализма в середине 2000-х годов осложнялось нерешенными вопросами и проблемами с обеих сторон. Попробуем теперь проанализировать и рассмотреть эти два направления в совокупности. Из уже сказанного можно сделать вывод, что они действительно исходили из общих предпосылок: сторонники обеих точек зрения были согласны с тем, что в советской системе в какой-то мере сочетались или перемешивались черты модерности и другие, расценивались ли эти последние как традиционные или самобытные, типично российские, специфически советские или нелиберальные. Ни одна из сторон не отрицала полностью ни своеобразных черт, ни возможных оснований для сравнения. И модернисты, и неотрадиционалисты старались защитить свои позиции, избегая того, чтобы окончательно примкнуть к одной из двух крайностей – универсализма или своеобразия. Исследователи, придерживающиеся концепции модерности, не забыли подчеркнуть конфликт между свободой и несвободой, значимость идеологии и другие отличающие советский строй особенности, в то время как неотрадиционалисты постарались показать, что отстаиваемые ими традиционные черты встраивались в модернизирующуюся (если не в модерную) систему. Несмотря на это, столь же очевидно, что сохраняющиеся разногласия между этими двумя исследовательскими направлениями были разногласиями между сопоставимостью и уникальностью, универсализмом и своеобразием, различиями в степени и различиями в качестве. Возникает вопрос: если специфические, уникальные или традиционные черты можно рассматривать в рамках парадигмы, открыто признающей множественность модерностей – в отличие от первых постсоветских дискуссий о модерности, – где проходит грань, позволяющая

---

<sup>107</sup> *Raeff M.* The Well-Ordered Police State; *Rieber A.* The Sedimentary Society // *Between Tsar and People: Educated Society and the Quest for Public Identity in Late Imperial Russia* / ed. E.W. Clowes, S.D. Kassow, J.L. West. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1991. P. 343–366; *Engelstein L.* Combined Underdevelopment: Discipline and the Law in Imperial and Soviet Russia // *American Historical Review*. 1993. Vol. 98. № 2. P. 338–353; а также Мартин Малия об «ускоренном прохождении западного маршрута Россией» – см.: *Malia M.* Russia under Western Eyes: From the Bronze Horseman to the Lenin Mausoleum. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999. P. 207.

<sup>108</sup> *Martin T.* Modernization or Neo-Traditionalism? P. 163

отделить этот подход от базовой неотрадиционалистской посылки о смешении в Советском Союзе современного и традиционного?

Полезно поместить эти вопросы в более широкий историографический контекст, поскольку происшедшее в постсоветской науке разделение сместило специалистов по истории России / СССР с их прежде устойчивых позиций. Неотрадиционалистское направление, последователи которого сознательно руководствовались многими положениями трудов Фицпатрик, вобрало в себя многие элементы вдохновленного ею классического ревизионизма: восприятие незапланированных последствий, не предвиденных представителями власти, как наиболее значимых; акцент на разрыве преемственности между 1920-ми и 1930-ми годами и, по крайней мере в случае Лено, последовательное утверждение ключевой роли первой пятилетки. Однако именно сторонники этого направления сочли необходимым отвергнуть общую для СССР и либерального Запада модерность, тогда как ревизионизм в свое время развивал универсалистские социологические концепции, например, концепцию восходящей мобильности, стремясь оспорить представления об уникальности тоталитаризма. Современная группа с ее неослабевающим интересом к идеологическим и политическим аспектам истории XX века, наоборот, выросла из отрицания социальной истории 1970–1980-х годов. Приверженцы концепции современности тоже по-своему отдавали дань своим предшественникам – теоретикам тоталитаризма, в частности, склонны были видеть скорее преемственность, чем разрыв между ленинским и сталинским периодами. Однако среди постсоветского поколения исследователей именно эта группа взялась опровергать упрочившиеся представления об уникальности советского строя, связанные с теорией тоталитаризма. Таковы были парадоксы историографической диалектики постсоветской эпохи.

Но чтобы осмыслить место спора между модерностью и неотрадиционализмом в российской историографии, нужна еще более широкая перспектива. Участники этого спора, возможно, даже осознавали, насколько глубоки были в поле их исследований корни разногласий между идеей уникальности России / СССР и предполагаемыми возможностями сравнения. Острый конфликт двух крайностей – своеобразия и универсализма – и колебания между ними были, как предположил Дэвид Энгерман в своей первой работе о раннем опыте изучения российской истории в США, обусловлены переходом от веры в национальный характер и географического эссенциализма, присущих большинству исследователей этой еще только формирующейся в конце XIX века области, через межвоенный период к зарождающемуся социологическому универсализму, который вступил в свои права после Второй мировой войны<sup>109</sup>. В своей основной работе, посвященной изучению истории СССР в Соединенных Штатах после 1945 года, Энгерман подверг этот послевоенный универсализм более пристальному анализу, изобразив его на этот раз как часть растянувшейся на десятилетия полемики между универсалистскими теориями – системами, «слабость которых нередко заключалась в том, что они по умолчанию ориентировались на западные общества», – и еще не утратившими силы концепциями национального своеобразия. Как сказал Энгерман: «Противоречия между универсалистскими целями и национальным своеобразием так или иначе доминировали в исследованиях советской экономики, политики и общества»<sup>110</sup>. Поэтому спор о модерности и неотрадиционализме продолжал основополагающее для этой области разделение.

Заслуживающей упоминания формой этого основополагающего разделения, которая ярко обрисована в работе Энгермана, является разрыв между социологами послевоенного периода, принимавшими участие в гарвардском проекте по изучению России, такими как Клод Клякхон, который поместил Советский Союз в современный индустриальный контекст вместе с

---

<sup>109</sup> Engerman D. *Modernization from the Other Shore: American Intellectuals and the Romance of Russian Development*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2003.

<sup>110</sup> Engerman D. *Know Your Enemy: The Rise and Fall of America's Soviet Experts*. New York: Oxford University Press, 2009. P. 6.

западными обществами, и сторонниками школы тоталитаризма, яростно настаивавшими на отсутствии точек соприкосновения между коммунизмом и Западом. Как отмечает Энгерман, характерная для проекта «всеобъемлющая позиция, в свете которой СССР представал как современное индустриальное государство, у которого было много общего с Западной Европой и Соединенными Штатами, получила некоторый резонанс в академической среде. Но она не стала пользоваться таким существенным авторитетом, тем более в такие короткие сроки, как книга Мерла Фейнсода „Как управляется Россия“ (1953), которая десятилетиями оставалась классической работой по советской политике»<sup>111</sup>.

Кроме того, долговременное противоречие между сопоставимостью с Западом и незападным либо немодерным своеобразием было сопряжено с неоднозначностью, итог которой, как мы видели, тоже был подведен в 2000-е годы. Например, теоретики тоталитаризма настаивали на непримиримом конфликте между сталинизмом и Западом, но говорили об этом в контексте сравнения нацистского и советского режимов, прослеживая корни тоталитаризма глубоко в недрах европейской истории. Ревизионизм, как уже упоминалось, в свою очередь, усвоил некоторые социологические разработки относительно западных сообществ, стремясь косвенно оспорить многочисленные послышки теории тоталитаризма об отклонении от западных норм, однако теория «социального строения» ревизионистской школы – представители которой привыкли глубоко вникать в детали социальной структуры – в то же время часто придавала этому направлению внутренний, интерналистский и ориентированный на специфику характер. Если мы учтем это, нам станет понятно, как постсоветский спор о модерности и неотрадиционализме перестроил основные прежние расхождения в новом контексте. В то же время расстояния между группами, находящимися в оппозиции друг к другу на почве универсализма / своеобразия, продолжали уменьшаться на фоне более давних разделений. К 2000-м годам эти противоречия уже сводились скорее к расстановке акцентов и подразумеваемому несогласию в отношении некоторых ключевых понятий.

Вернемся теперь к вопросу о том, как подход, предполагаемый концепцией множественных модерностей, можно отличить от неотрадиционалистского положения о смешении традиционного и современного. Еще одно расхождение, обнаружившееся в ходе постсоветских дискуссий, выявляет суть проблемы: различие представлений о Западе и о пути к модерности. Противопоставляя советскую систему современному западному миру, неотрадиционалисты, по всей вероятности, пытались создать целостную (современную) модель Запада или западной модернизации, на фоне которой можно было бы рассматривать Советский Союз. Сторонники модерности (и, шире, все, кто открыто поддерживал теорию множественных модерностей), наоборот, по-видимому, сознавали, что архаичные черты присущи многим сообществам и что путь к модерности в дореволюционной России был извилистым, как и во многих частях Европы, не говоря уже об остальном мире. На самом деле представление о том, что традиционные практики и мышление глубоко укоренились в Европе XIX века – который обычно считают веком модернизации Запада, – не содержит в себе никакого противоречия с точки зрения, например, специалистов по социальной истории Европы или истории труда. Приверженцы модерности, расширив сопоставительный аспект и, в частности, указав на параллели с историей Германии, поставили под вопрос идею целостности Запада и доминирования в его рамках англо-американских моделей.

## ОТГОЛОСКИ И ПЕРЕСТАНОВКИ

С тех пор как Мартин и Лено впервые сформулировали теорию неотрадиционализма, она успела оставить заметный след в своей области. Я вкратце проанализирую четыре типа реакции

---

<sup>111</sup> Ibid. P. 68.

на эту теорию: использование ее в измененном виде; частичное принятие неотрадиционалистской критики концепции российской / советской модерности; полная поддержка концепции неотрадиционализма; возврат к более ранним представлениям о непрерывной в своей основе российской традиции.

Одна из самых значимых интерпретаций теории неотрадиционализма содержалась в работе британского историка Дэвида Пристланда о сталинской идеологии и «политике мобилизации», написанной в 2007 году. Проанализировав ход дискуссии между сторонниками модерности и приверженцами неотрадиционализма, Пристланд справедливо заключил, что доводы обеих сторон весомы, но обладают существенными изъянами. В частности, он указал на «в значительной мере вредоносное», идеологизированное игнорирование Большого террора как «имеющего мало отношения к неотрадиционалистскому проекту, который изначально делал акцент на стабильности». В то же время Пристланд обоснованно возразил против того, чтобы проследить прямую связь между просветительской и большевистской модерностью, на которую в 1990-е годы указывали Коткин, Хоффман и другие (склонные при этом рассматривать Просвещение как единый феномен, вместо того чтобы говорить о множественных Просвещениях, как это характерно для многих специалистов по XVIII веку). Кроме того, акцент, который модернисты делали на просветительских истоках, не соответствовал ни «часто присущему сталинской эпохе стремлению ставить героизм выше научного рационализма», ни «преследованиям ученых-„вредителей“, защищавших науку от произвольных экспериментов»<sup>112</sup>.

Вместо того чтобы поддерживать модерность или неотрадиционализм, Пристланд предпочел подчеркнуть противоречия внутри сталинизма. В его работе прослеживалась история столкновения между сторонниками ревивализма, придерживавшимися волонтаристского или харизматического подхода, и их противниками – сторонниками научного, технического подхода к политике и экономике. Затем Пристланд отмечал: «К тому же... „неотрадиционалистская“ точка зрения зародилась в недрах большевизма, который в результате отступил от марксизма, отказавшись от цели преобразования общества в полностью равноправное». Ревивализм во многом привлекал и самого Сталина, который, однако, часто обращался и к техническому, и – иногда – иерархическому неотрадиционалистскому подходу, поскольку системы не выдержала бы постоянных революционных волнений<sup>113</sup>.

Пристланд поместил неотрадиционализм в исторический контекст, увидев в нем лишь одно – едва ли преобладающее – направление в рамках сталинизма. В этом отношении он оказался близок к тем, кто, как Дэвид Бранденбергер, прежде всего анализировал, как сталинизм намеренно вбирал в себя и развивал традиционные символы и иконографию. Бранденбергер так описывал эту перемену, происшедшую в конце 1930-х годов: «Сталин и его окружение выстраивали новую героическую линию, вдохновляясь именами и биографиями из русского национального прошлого. Эта русскоцентричная переработка „подходящего прошлого“, будучи чисто прагматическим решением, послужила эффективным дополнением к официальной советской идеологии, в котором не стоит видеть шага к подлинному национализму или фундаментального отступления от приверженности режиму марксизму-ленинизму»<sup>114</sup>. Дэвид Хоффман также не видел противоречия между становлением современной модели массовой политики в 1930-е годы и практическим использованием традиции. В межво-

---

<sup>112</sup> Priestland D. *Stalinism and the Politics of Mobilization: Ideas, Power, and Terror in Inter-War Russia*. Oxford: Oxford University Press, 2007. P. 14.

<sup>113</sup> *Ibid.* P. 37, 408.

<sup>114</sup> Brandenberger D. 'Simplistic, Pseudo-Social Racism': Ideological Debates within Stalin's Creative Intelligentsia, 1936–1939 // *Kritika*. 2012. Vol. 13. № 2. P. 365–393, цитата: P. 367–368. Бранденбергер ссылается на расширенное использование традиционных символов: Hobsbawm E., Ranger T. (eds.). *The Invention of Tradition*. Cambridge: Cambridge University Press, 1983. См. также: Platt K.M.F., Brandenberger D. (eds.). *Epic Revisionism: Russian History and Literature as Stalinist Propaganda*. Madison: University of Wisconsin Press, 2006.

енный период государства изобретали традиции, используя стимулирующий потенциал «традиционных призывов и символов», по его словам, «в ту же самую минуту, когда новый рационализм разрушал традиции. <...> В особенности это касалось фашистских режимов, но демократические и социалистические государства также прибегали к откровенно антисовременным темам (народность, чистота сельской жизни, традиционная семья)»<sup>115</sup>.

В работе Пристланда содержалось еще одно важное рассуждение касательно советской истории. Пристланд отверг представление о «единой идеологической системе, какой якобы являлся „большевизм“ или „сталинизм“». Описанное им зигзагообразное, эволюционное развитие сталинской политики в 1930-е годы с ее колебаниями между разными тактиками в стремлении добиться невозможного, наоборот, показывало, что «нам не стоит считать внутренне единой идеологию или политическую культуру, которой руководствовались большевики, принимая решения»<sup>116</sup>. Пристланд, таким образом, высказался в поддержку все более популярной точки зрения на сталинизм как на сложное, а не единое целостное явление.

Второй тип реакции – принятие элементов неотрадиционалистской критики модерности при несогласии с самой концепцией – принадлежит Рональду Григору Суни, чей более ранний критический анализ теории модерности мы уже рассматривали. Суни никогда не принимал концепцию неотрадиционализма, но у него вызывала возражения как расплывчатость современного подхода, так и односторонние выводы из него историков. Как он писал в своей опубликованной в 2007 году статье, «модерность – на редкость емкий термин, которым, по-видимому, можно объяснить все, от прав человека до Холокоста». Доводы Суни против концепции советской модерности были как методологическими, так и политическими. Если говорить о первых, то подчеркивание темной стороны Просвещения в постсоветских исследованиях модерности, скорее всего, мешало увидеть возможный прогресс и, таким образом, с его точки зрения, подсказывало консервативные выводы. Это возражение, по-видимому, было направлено против столь модного в 1990-е годы несогласия с духом Просвещения, который при этом (как уже говорилось) имел мало общего с реальными исследованиями XVIII века. Методологическое возражение Суни против использования концепции модерности в историографии представляется мне более серьезным, и оспорить его труднее. По его словам, «специалисты по советской истории, стремящиеся „восстановить в правах идеологию“, вносят существенный вклад в объяснение советской практики, но модерность – понятие столь широкое, что, если не выделить какие-то конкретные элементы и не продемонстрировать причинные связи, оно может скорее вводить в заблуждение, чем объяснять».

Если бы замечания Суни касались только широты и возможных политических коннотаций понятия модерности, на них было бы легко ответить: многие ключевые термины истории и социологии оказываются неуловимыми, сложными и политизированными, но они так важны, что игнорировать их невозможно. Однако возражение Суни в данном случае было направлено главным образом против применения концепции модерности историками-советологами. Он едко заметил, что попытка использовать модерность как «мотив действия» или объяснительный фактор исторического развития была одним из недостатков постсоветской историографии. Суни предложил, вместо того чтобы прибегать к модерности для объяснения хода событий или сущности системы, воспринимать ее как «контекст, условия, в которых одни идеи, стремления и практики с большей вероятностью находят поддержку, нежели другие»<sup>117</sup>. Поэтому

---

<sup>115</sup> Hoffmann D. Stalinist Values. P. 247.

<sup>116</sup> Priestland D. Stalinism and the Politics of Mobilization. P. 16. См. другую точку зрения на противоречия и отсутствие единства внутри сталинизма: David-Fox M. Showcasing the Great Experiment: Cultural Diplomacy and Western Visitors to the Soviet Union, 1921–1941. New York: Oxford University Press, 2011. Chap. 8 & epilogue; Krylova A. Soviet Women in Combat: A History of Violence on the Eastern Front. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

<sup>117</sup> Suny R.G. On Ideology, Subjectivity, and Modernity: Disparate Thoughts about Doing Soviet History // Russian History / Histoire russe. 2007. Vol. 34. № 1–4. P. 1–9, цитата: P. 9.

Суни выступил не столько в поддержку неотрадиционализма или против теории модерности, сколько с тем, чтобы обоснованно предостеречь против превращения модерности как таковой в ключевой движущий фактор советской истории.

В период с середины 2000-х по начало 2010-х годов интерес к явно неотрадиционалистским теориям в советской историографии пошел на убыль. Однако разногласия между исследователями, описанные в этой главе, сохранялись и получали неожиданное развитие. Авторы работ о сталинской эпохе по-прежнему делились на тех, кто включал Советский Союз в число современных государств XX века, и тех, кто, вслед за неотрадиционалистами, акцентировал внимание на господстве в советской реальности бессистемной и зависящей от личностных факторов практики вместо всеобъемлющей теории, – позиция, которую можно было бы назвать латентным неотрадиционализмом. Отчасти в этом расхождении повторялось разделение на исследователей, в большей степени ориентированных на теорию и сопоставительный анализ, и эмпириков. Но споры о проблеме советской модерности как таковой утихли, а привлекающий все более пристальное внимание историков период оттепели, казалось, не давал повода для дискуссии о советской модерности. По крайней мере, как значимая проблема она не воспринималась. Возможно, потому, что урбанизированную, индустриальную ядерную сверхдержаву с растущим интересом к культуре потребления трудно было назвать традиционной, но также потому, что историки постсталинской эпохи не затрагивали в своих работах некоторых существенных вопросов о советском пути развития, которые изначально поднимались в литературе межвоенного периода.

Реже случалось, что отдельные авторы открыто высказывались в поддержку концепции неотрадиционализма в противовес модерности. Один из найденных мной примеров такого рода – впечатляющее диссертационное исследование Уилсона Т. Белла о ГУЛАГе и принудительном труде в Западной Сибири. Опровергая иллюзию модернизированного, бюрократического устройства ГУЛАГа, создаваемую документами, Белл обратился к личностным отношениям и неформальным практикам, бытовавшим в западносибирских лагерях, как доказательству неотрадиционализма советского строя. В разделе, где он оспаривал тезис о модерности, Белл выразил несогласие с работами Фуко и Баумана о тюрьмах и лагерях в применении к советской системе. Фуко, как вслед за Яном Плампером обоснованно заметил Белл, высказывался о ГУЛАГе неоднозначно<sup>118</sup>. Более того, кошмарная бюрократическая эффективность «возделывания государства» у Баумана едва ли соотносилась с порочностью и намеренной непродуктивностью лагерной бюрократии. На самом деле, по мысли Белла, бюрократизация и канцелярские правила отнюдь не способствовали централизации системы, а скорее укрепляли неформальные практики. Поэтому «концепция „неотрадиционализма“ – модернизации с сохранением и усилением некоторых до-модерных практик – описывает ГУЛАГ точнее, чем „модерность“»<sup>119</sup>.

Здесь мы наблюдаем, с одной стороны, глубокий след, оставленный спорами историков в 1990-е и 2000-е годы, а с другой – сохраняющееся влияние дихотомии намерения и исполнения. Белл сосредоточился именно на Фуко и Баумане, поскольку они размышляли на тему лагерей, но также потому, что в 1990-е годы работы о модерности изобиловали ссылками на них. Хотя каждый из выдвинутых Беллом тезисов убедителен и интересен, отрицание им модерности в целом исходя из анализа воззрений этих двух теоретиков является редукционизмом. Учитывая, что Белл, объясняя, почему в ГУЛАГе не было модерности, делает акцент на бессмысленности канцелярской работы, а также на примитивных инструментах и условиях труда, особенно интересна критика Баумана Майклом Манном в его «Темной стороне демократии». Манн, как и Бауман, говорит о нацистских лагерях смерти: «В документах *намеренно* исполь-

---

<sup>118</sup> Plamper J. Foucault's Gulag // *Kritika*. 2002. Vol. 3. № 2. P. 255–280.

<sup>119</sup> Bell W.T. The Gulag and Soviet Society in Western Siberia. PhD diss., University of Toronto, 2011. P. 114–125, цитата: P. 124.

зовались слова, никак не связанные с убийством, чтобы скрыть массовое уничтожение. В большинстве лагерей смерти не было ни бюрократии, ни бесстрастия. Правда, что Германия была развитой страной с действительно сильным правительством и очень сильной армией... Однако коллаборационисты из других стран, румынские и хорватские фашисты, использовали примитивные технологии с почти таким же разрушительным результатом. <...> Каждая группа преступников использовала наивысший доступный ей уровень модерности и технологий. Это единственное рациональное зерно в доводах Баумана и Фейнгольда, и весьма банальное»<sup>120</sup>.

По словам Манна, новые работы о Холокосте на Востоке превзошли литературу о фабриках смерти, поскольку там нацистские убийства были далеки от бюрократии и высоких технологий. Манн настойчиво утверждает, что элементы модерности, присущие нацизму и Холокосту, заключались в чем-то другом: в массовом движении с его «дисциплиной, товарищескими отношениями и карьеризмом», подкрепляемыми общей идеологией<sup>121</sup>. Критику Манна в адрес предложенного Бауманом подхода к модерности, в которой на первом плане оказываются идеология и мировоззрение, а не технологии и бюрократия, особенно полезно прочитать изучающим сталинизм. К тому же ни один анализ модерности ГУЛАГа не может обойтись без выявления в нем черт, отличающих его, например, от дореволюционной пенитенциарной системы (которая в других аспектах осталась прежней), таких как систематическое применение медицинских критериев, позволяющее максимально использовать человеческое тело<sup>122</sup>. Также здесь, если смотреть шире, уместна разработанная Тариком Сирилом Амаром концепция специфически советского варианта модерности – который оставался таким сильным, обширным и массовым в течение долгого времени именно потому, что был таким неповоротливым и неэффективным, подвергаясь нападкам со всех сторон<sup>123</sup>.

Разумеется, обсуждать модерность или неотрадиционализм нацистского геноцида и принудительного труда в сталинских лагерях или делать выводы о каждой из этих систем в целом, судя по ее частям, как бы они ни были значительны, само по себе проблематично. Но, как бы то ни было, разрыв между намерениями и их исполнением в Советском Союзе – который в свое время подчеркивали Фицпатрик, Мартин и Суни и который произвел впечатление и на других исследователей – остается основной проблемой историков-советологов. Здесь одной из наиболее глубоких работ об оппозиции планирования и практики можно назвать статью Линн Виолы о депортациях эпохи коллективизации, опубликованную в журнале *Kritika*. Как показывает Виола, до абсурда детальное централизованное планирование на бумаге в СССР этого периода на деле шло рука об руку с невероятным хаосом и небрежностью. Однако основным выводом Виолы заключался в том, что «представления о контроле и рациональном порядке, спроецированные на царящий в России хаос урбанистическим правительством, которое было настроено на перемены», соответствовали тому, что Джеймс Скотт назвал высоким модернизмом, носители которого склонны были рассматривать навязываемую государством рациональность в эстетических категориях. Подводя значимый итог, Виола отметила, что у сталинской эстетики планирования «было намного больше общего с социалистическим реализмом, чем с „научной“ социальной инженерией; более того, переизбыток планирования и реальный беспорядок скорее поддерживали, чем опровергали друг друга, поскольку оба были „типичны для попыток советского государства обуздать свою бюрократическую систему на пути к социализму“». Продолжая эту тему в своем комментарии к статье, Питер Холквист высказал мысль,

---

<sup>120</sup> Mann M. *The Dark Side of Democracy: Explaining Ethnic Cleansing*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. P. 141, о работе Генри Л. Фейнгольда.

<sup>121</sup> Mann M. *The Dark Side of Democracy*. P. 278.

<sup>122</sup> В этой связи см.: Alexopoulos G. *Illness and Inhumanity in Stalin's Gulag*. New Haven, CT: Yale University Press, 2017; Alexopoulos G. *Destructive-Labor Camps: Rethinking Solzhenitsyn's Play on Words* // *Kritika*. 2015. Vol. 16. № 3. P. 499–526.

<sup>123</sup> Amar T.C. *The Paradox of Ukrainian Lviv: A Borderland City between Stalinists, Nazis, and Nationalists*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2015.

что «между утопическим планированием и беспорядочным осуществлением существовала не только пропасть, но и сущностная взаимосвязь». Намерения и результаты виделись Холквисту как компоненты диалектики: ненависть к отсталости и безоглядная вера в государственную мощь неизбежно вели к провалу грандиозных планов, причину которого искали не в самом подходе, а в неподчинении и отсталости, – круг замыкался. В заключение Холквист писал: «Здесь мы наблюдаем, по всей видимости, не столько динамику, присущую именно сталинизму, сколько исторически специфическое и многократно отмечавшееся возобновление „постоянного условия“ российской истории, если воспользоваться понятием Альфреда Рибера: иллюзии, что воздействие государства может служить инструментом преобразования инертного российского общества, и последующей неудачи, когда российское общество оказывалось совершенно нечувствительно к такому преобразовательному воздействию»<sup>124</sup>. Исследовательница, которая так блестяще проанализировала зазор между планированием и практикой, сослалась на высокий модернизм; сторонник модернистской концепции, в свою очередь, указал на устойчивую для России ситуацию.

Если спор между модерностью и неотрадиционализмом способствует решению какой-то насущной проблемы, то за счет того, что побуждает выйти за пределы теоретических концепций, разграничивающих намерения и последствия, идеи и обстоятельства, политические программы и социальную реальность, верхи и низы. Лишь изучение их взаимосвязи может вывести историков из тупика, в который их завела постсоветская дискуссия.

Наконец, все более очевидное укрепление авторитарной власти Владимира Путина в Российской Федерации в 2010-е годы, по-видимому, породило теории, объясняющие преемственность между дореволюционной Россией, Советским Союзом и постсоветской Россией. Как мы уже видели, работы, написанные в русле современной и неотрадиционалистской тенденций, отчасти перекликались: представители обоих направлений сходились на том, что многие черты советского периода были новаторскими и современными. Ни в том, ни в другом подходе на первом плане не оказались старейшие, освященные веками тезисы об отсталости России. Здесь возможны изменения, поскольку теории о вечно отсталой и деспотической России оказываются соблазнительны не только для журналистов, прибегающих к ним для большей эффективности, но также для историков и других ученых-гуманитариев, которые привыкли – или должны были привыкнуть – считать умение видеть разницу от эпохи к эпохе своим основным профессиональным инструментом.

Этот шаг назад, или – назовем его так – реверсионизм, хорошо заметен в работе Арча Гетти «Сталинизм на практике: большевики, бояре и устойчивость традиции». Здесь путинская клановая политика постоянно фигурирует в контексте тысячелетней, непрерывной в своей сути политической культуры, в которой сближаются практики бояр и комиссаров. В рамках этой точки зрения российская и советская история составляют часть единого потока, а события давнего прошлого России изображены в параллели к событиям как советского периода, так и постсоветского настоящего. При чтении вводной главы создается впечатление, что Гетти ассоциирует себя с неотрадиционалистами, о концепции которых отзывается одобрительно. Однако в этой работе, более обширной по замыслу, прослеживается качественно более непосредственная преемственность между тем, что постоянно называется «старой Россией» (страна до 1917 года, с почти исключительным вниманием к периоду Московского княжества), и советской / постсоветской эпохой. Поэтому большевики, какими бы ни были их планы и их идеология, волей-неволей вернулись к «древним» и «архаичным» практикам патримониализма,

---

<sup>124</sup> Viola L. The Aesthetic of Stalinist Planning and the World of the Special Villages // *Kritika*. 2003. Vol. 4. № 1. P. 101–128; Holquist P. New Terrains and New Chronologies: The Interwar Period through the Lens of Population Politics // *Kritika*. 2003. Vol. 4. № 1. P. 163–175, где автор ссылается на Альфреда Рибера: Rieber A.J. Persistent Factors in Russian Foreign Policy: An Interpretive Essay // *Imperial Russian Foreign Policy* / ed. H. Ragsdale. Washington, DC: Woodrow Wilson Center Press, 1993. P. 322.

заложенным в политической культуре царской России<sup>125</sup>. Если неотрадиционалисты в начале 2000-х быстро отмахнулись от изучения самой традиции, Гетти начинает с того места, где они остановились, и обращает свои усилия на заполнение лакуны – анализ всей российской истории до и после сталинской эпохи.

Гетти в своей работе часто обращается к другому автору, утверждавшему непрерывность преемственности в России, а именно Эдварду Кинану и его знаменитой статье «Московитские политические традиции»<sup>126</sup>. Эти теории часто подвергались критике за свою неспособность указать конкретные причинно-следственные механизмы, в силу которых модели, присущие Московской Руси, вновь проявились в советский период. Гетти не решает этой проблемы, по большей части оставляя без внимания преобразование имперского периода, от Петра Великого до 1917 года, когда, по его словам, «мало что менялось»<sup>127</sup>. И Гетти в своем анализе действительно придает мало значения каким-либо историческим изменениям, хотя книга полна оговорок и противоречий. Таким образом, место концепции неотрадиционализма, подразумевающей осовремененное или новое («нео») обращение к традиции, в работе Гетти заступила отсылка к российской традиции в целом<sup>128</sup>. Ни 1917, ни 1937 год не принесли существенных изменений: «Другого способа править Россией никогда не существовало, и, по некотором размышлении, в самом деле было бы удивительно, если бы Сталин мог вытеснить тысячелетний опыт правления, просто убив всех, кто на тот момент занимал какие-то ответственные посты... Именно так всегда и управлялась Россия»<sup>129</sup>.

Вместо того чтобы изображать модерность как незавершенную, включающую в себя различные стадии, отмеченную кризисными моментами, отчасти вобравшую в себя элементы прошлого, протекающую в разных странах разными темпами – какой она предстает в этой главе и во всей этой книге, – Гетти возвращается к простой бинарной оппозиции современного и архаичного. Это разделение на черное и белое основано на поразительно буквалистской трактовке идеальных типов Вебера, как будто бы все современное в государственной системе можно назвать «рационально-бюрократическим», а все ранее существовавшее было личностным, традиционным и клановым.

Но это упрощенное противопоставление грешит вопиющими изъянами элементарной логики. Например, коль скоро российский патримониализм восходит к древним и устаревшим традициям, в которых заключается его своеобразие или отсталость, он предположительно

---

<sup>125</sup> *Getty A.J. Practising Stalinism: Bolsheviks, Boyars, and the Persistence of Tradition.* New Haven, CT: Yale University Press, 2013; эти два понятия фигурируют в особенности на страницах 2, 3, 8, 9, 11, 18, 33, 44, 68, 69, 70, 72, 75, 79, 86, 279. Описывая спор между сторонниками модерности и неотрадиционализма, Шейла Фицпатрик указывала на роль личностных связей в сталинизме, называя отношения зависимости и покровительства, а также благ «архаизирующими», но Гетти, говоря об их «архаичности», идет дальше. См.: *Fitzpatrick Sh. Introduction.* P. 11.

<sup>126</sup> *Keenan E. Muscovite Political Folkways // Russian Review.* 1986. Vol. 45. № 2. P. 115–181.

<sup>127</sup> *Getty A.J. Practising Stalinism.* P. 91. Более сложный анализ преемственности между Московской Русью и Советским Союзом находим в работе Олега Хархордина: *Kharkhordin O. The Collective and the Individual in Russia: A Study of Practices.* Berkeley: University of California Press, 1999, – которая подверглась критике именно из-за своей неспособности объяснить механизмы преемственности от эпохи к эпохе. Ранее в ответ на статью Кинана «Московитские политические традиции» Ричард Уортман обозначил две проблемы: уже устаревшее понимание Кинаном «политической культуры» и игнорирование многих изменений имперского периода: ‘Muscovite Political Folkways’ and the Problem of Russian Political Culture // *Russian Review.* 1987. Vol. 46. № 2. P. 191–197. Тридцатью годами позже Гетти снова поднимает обе проблемы. См. мой собственный отзыв на работу Гетти: *Slavic Review.* 2014. Vol. 73. № 3. P. 635–638.

<sup>128</sup> В своей рецензии на книгу Гетти Шейла Фицпатрик заявила: «Мне близки его аргументы [относительно того, что большевики оказались „втянуты“ в „глубинные структуры“ российской истории] и вытекающая из них склонность не воспринимать всерьез официальную идеологию, но Гетти перегибает палку» (*Fitzpatrick Sh. Whose Person Is He? // London Review of Books.* 2014. Vol. 36. № 6). Нельзя не отметить поразительного сходства с более ранней ситуацией в исторической науке 1986 года, когда Фицпатрик дистанцировалась от «младотурецких» ревизионистов – в том числе и молодого Дж. Арча Гетти, – которые доводили до крайности ее собственный ревизионистский акцент на социальных изменениях «снизу». См.: *Fitzpatrick Sh. New Perspectives on Stalinism // Russian Review.* 1986. Vol. 45. № 4. P. 357–373, spec. P. 371–372, а также: *Fitzpatrick Sh. Afterward: Revisionism Revisited // Russian Review.* 1986. Vol. 45. № 4. P. 409–413.

<sup>129</sup> *Getty A.J. Practising Stalinism.* P. 267, 268.

отличается от рационально-бюрократической модерности, которая локализуется где-то еще. Возможен ли он на Западе? Здесь обнаруживается почти полное отсутствие сопоставительного плана в избранном Гетти походе. Рассуждения о нацистской модерности были бы уместны в контексте лично окрашенного феномена «работы для фюрера» или территорий под властью нацистской империи, однако никаких намеков на Гитлера в тексте нет<sup>130</sup>. Вместо этого мы узнаем, что «неформальные личные договоренности», сходные с теми, что были характерны для сталинского режима, распространены и в современных государствах. Причудливый парадокс заключается в том, что одной из ключевых аналогий в книге оказывается параллель между Сталиным и британским премьер-министром Маргарет Тэтчер. По словам Гетти, если говорить о личном вмешательстве Тэтчер в работу кабинета министров, «вполне можно было бы заменить „миссис Тэтчер“ на „Сталин“»<sup>131</sup>. Вероятно, Железную леди, как и Человека из стали, сформировала архаичная, идущая из древности русская традиция.

## К НОВОЙ ДИСКУССИИ

Учитывая переход Гетти от неотрадиционализма к уверенно утверждающему преемственность тезису о российском патримониализме, можно сказать, что открылся новый этап спора о модерности в России и Советском Союзе. Но в другом, более многообещающем и интеллектуально продуктивном отношении новая эпоха тоже уже началась. Впечатляющее развитие транснациональной истории за годы с момента возникновения неотрадиционализма, а также исследования взаимодействий страны с другими государствами в различные периоды предоставляют ряд возможностей для исследования. Всеобщий курс на транснациональный диалог может пролить свет на заимствования в рамках международной системы – явление, которое можно было бы назвать переплетенными модерностями.

Изучение заимствований, неприятий и адаптаций подтверждает необходимость сопоставительных исследований, как видно из первого полноценного сопоставительного труда по советской истории «Взрачивание масс» Дэвида Л. Хоффмана. Эта книга важна для данной дискуссии еще в двух отношениях. Во-первых, ее основная мысль состоит в том, что «воспитательная» (в противовес биологической) мотивация русской интеллигенции во многих областях, которые так и хочется назвать традиционными, сыграла существенную роль в формировании советского варианта модерности. Это косвенно подразумевает альтернативу неотрадиционализму с его парадоксальной и упорной сосредоточенностью исключительно на коммунистическом периоде. Во-вторых, Хоффман предлагает более гибкое восприятие советской модерности как незападной и в то же время сопоставимой и своеобразной, широко используя для этого литературу о множественных модерностях<sup>132</sup>.

Во многих отношениях этот прорыв не решает наших проблем, а лишь создает новые. Наиболее значительные задачи отсылают к вечным вопросам, но теперь они соединяют – и таким образом преодолевают – противостояния и крайности, определявшие расстановку акцентов в этом исследовательском поле. Одна из таких задач заключается в том, чтобы уловить конкретную связь между спецификой (различием) и универсализмом (сопоставимостью). Вторая – в том, чтобы, наблюдая процесс становления цивилизации и траекторию развития, проследить общность между моделями российской и советской истории, не преуменьшая отличия и нововведения. Третья – в том, чтобы проводить сравнение различных форм модерности,

---

<sup>130</sup> Эту концепцию в область истории национал-социализма впервые ввел Ян Кершоу: *Kershaw I. 'Working toward the Führer': Reflections on the Nature of the Hitler Dictatorship // Contemporary European History. 1993. Vol. 2. № 2. P. 103–118, – разработав ее более полно в своей двухтомной биографии Гитлера, переизданной в одном томе как: Hitler: A Biography. New York: W.W. Norton, 2008.*

<sup>131</sup> *Getty A.J. Practising Stalinism. P. 117.*

<sup>132</sup> *Hoffmann D.L. Cultivating the Masses.*

не жертвуя возможностью полноценно оговорить разницу между ними. Система, учитывающая все эти проблемы, подходила бы для разных стран и была бы сравнительно полной в плане географии и хронологии. Модерность как таковая в ней уже не выступала бы в качестве причины чего угодно. Она открыла бы потенциальные возможности для исследования, а не стала бы его конечным пунктом.

## 2. ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ, МАССЫ И ЗАПАД ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ / СОВЕТСКОЙ МОДЕРНОСТИ

В XX веке миллионы людей видели в советском коммунизме грозного противника или модель быстрого развития, если не возможного будущего человечества. Однако среди историков, изучавших коммунизм уже после его крушения, понятию модерности в российском и советском контексте пришлось бороться за существование под тяжким бременем скептицизма. Давняя традиция размышлять об отклонениях России от западного пути развития в терминах отсталости определила многие подходы к пониманию сначала русской революции, а затем и поражений коммунизма. Эта традиция прочно укоренилась задолго до того, как социальные теоретики стали рассматривать советский коммунизм как разновидность высокого модернизма или как один из вариантов в рамках теории множественных модерностей. Анализ модерности в Российской империи и Советском Союзе остается вдвойне затруднительным именно потому, что оба режима кончили свои дни на свалке истории.

Начиная этот разговор, мы исходим из того, что отличительные особенности России / Советского Союза не сводятся лишь к откровенно неудачной попытке стать современным государством. Наоборот, наиболее специфические, характерные именно для российской и советской истории черты должны стать ключевыми, если мы говорим о модерности в таком контексте, как раз потому, что речь идет о специфическом и самобытном варианте модерности. Тем не менее признаем, что многие обстоятельства, не в последнюю очередь два развала государства в 1917 и 1991 годах, делают более чем уместным вопрос о том, что было не так с этим вариантом модерности, пусть мы и считаем его таковым.

Эта глава представляет собой синтетический, аналитический обзор, функция которого состоит не в детальном изложении эмпирических находок, а в том, чтобы стимулировать исследования российской и советской модерности поверх границы 1917 года. В ней утверждается, что один из наиболее плодотворных подходов к парадоксам российской / советской модерности – одновременно во многом схожей с тем, что мы наблюдаем в других странах, и поразительным образом уникальной, мощным двигателем, способствующим расцвету социалистической супердержавы, и в конечном счете впечатляющим провалом, – заключается в изучении культурных и цивилизационных особенностей, которое лежит в основе теории множественных модерностей. Поэтому в центре этого анализа российской / советской модерности (у которого, разумеется, могут быть другие важные аспекты) – интеллигенция и попытки государства достичь модерности посредством культуры и просвещения. В первую очередь наше внимание будет сосредоточено на отношениях между интеллигенцией и государством с одной стороны и массовой культурой – с другой<sup>133</sup>. Если говорить коротко, суть моих доводов состоит в том, что в этих отношениях раскрывается одна из главных особенностей российско-советской модерности или, если хотите, сформировавшие ее специфические культурные модели. Все эти модели родились в результате соединения давних традиций иницируемых государством преобразований и попыток ориентированных на Запад представителей элиты преодолеть отсталость России, и все они строились на насаждении просвещения сверху и поисках альтернатив этому рынку.

Внутригосударственная цивилизационная миссия сыграла такую существенную роль в политике и культуре модернизированной России и СССР, поскольку радикальное воздействие

---

<sup>133</sup> В этой главе под «массовой культурой» понимается как новая коммерческая культура (в противовес народной или популярной культуре), бурный расцвет которой пришелся на конец XIX столетия, так и – в советскую эпоху – политизированная, широко распространяемая культурная продукция, предназначенная для масс.

на массы оппозиционной интеллигенции ставило сложную, казавшуюся насущной задачу их преобразования. В пору рождения массовой культуры в XIX веке этот мощный порыв был продиктован поразительным единодушием относительно пагубных последствий коммерциализации – и все так же мотивирован неизбежным сравнением с Западом. Просветительская кампания интеллигенции могла сопровождаться усилием сдержать глубоко укоренившиеся традиции авторитарной государственной власти, но при старом режиме осуществить это в полной мере было невозможно; лишь после большевистской революции, лидеры которой принадлежали к радикальному крылу интеллигенции, просветительская антирыночная кампания набрала всю силу революционной диктатуры. Чтобы подчеркнуть двойственную природу происшедших в итоге изменений, я назвал получившееся смешение российского и советского интеллигентско-этатистской модерностью.

## ОСОБЕННОСТИ ИНТЕЛЛИГЕНТСКО-ЭТАТИСТСКОЙ МОДЕРНОСТИ

Когда Энтони Гидденс, побужденный дискуссиями о постмодернизме, выступил с дающими богатую пищу для размышлений лекциями о модерности, которые оказали значительное влияние на последующие суждения на эту тему, ключевую роль в его интерпретации играли становление капитализма и национальное государство. Гидденс совершенно недвусмысленно заявил, что западными являются не только истоки модерности, но и сама ее природа. В то же время глобализация современного должна была способствовать постижению модерности – он не уточнил, когда именно, – посредством стратегий и концепций, сформировавшихся не в западной среде. Не уточняя, как сталинизм мог быть современным вне капитализма или национального государства, Гидденс высказал мысль, что пример Советского Союза показывает, как «тоталитарные возможности содержатся в институциональной структуре модерности, а не вытесняются ею»<sup>134</sup>.

Опираясь на анализ Гидденсом модерности как обоюдоострого меча, источника возможностей и в то же время сдерживающего фактора, Петер Вагнер утверждал, что предпосылка о радикальном отличии «воспрепятствовала тому, чтобы увидеть черты сходства между индустриальными обществами Востока и Запада в XX веке... Сторонники таких подходов по большей части однозначно помещали [государственный] социализм за рамками „либеральных“ традиций, превращая его в антипода либеральной модерности». По мысли Вагнера, дело не просто в том, что социалистические идеи составляли непосредственную часть современной традиции и стремления преодолеть присущее XIX столетию ограниченное устройство модерности. Коммунистические практики, нося на себе отпечаток характерной для межвоенного периода в целом попытки создать новые формы коллективной политики, скорее следовали модели «организованной модерности», нежели «не-, до- или даже антимодерного социального образования»<sup>135</sup>. Однако восприятие Вагнером коммунизма было основано в основном на Германской Демократической Республике (ГДР), а использованное им понятие организованной модерности обозначало скорее свойственную XX веку в целом реакцию на кризис довоенной либеральной модерности, чем какой-то культурно специфический вариант. Как значимость модернизации дореволюционной России, так и особенности российско-советских исторических траекторий остались за рамками его кругозора.

Когда в 1990-х и 2000-х годах некоторые специалисты по истории России поставили перед собой задачу разработать концепции российской и советской модерности, на первом

---

<sup>134</sup> Giddens A. *The Consequences of Modernity*. Stanford, CA: Stanford University Press, 1990. P. 8, 174–176.

<sup>135</sup> Wagner P. *A Sociology of Modernity: Liberty and Discipline*. London: Routledge, 2004. P. 66, 101. «Организованная модерность» Вагнера восходит к термину Хильфердинга «организованный капитализм» (68, 211, сноска 45).

плане для них оказалось не изучение истоков и особенностей конкретной разновидности модерности, а стремление убедительно продемонстрировать, что Россию / СССР можно считать современным государством. Учитывая это побуждение, логичным и неминуемым образом внимание ученых сосредоточилось на централизованном, проводящем политику вмешательства государстве – на чем-то непохожем на капитализм или национальную государственность, на том, чего Российская империя и Советский Союз не были лишены, но чем, напротив, обладали в избытке. Под влиянием работ Фуко, которое историки испытывали в 1990-е годы, появилась новая волна работ о власти и знании, прежде всего – о профессионалах и специалистах, ключевой области, в отношении которой Россия также была скорее в числе лидеров, чем отстающих. Как писал Янни Коцонис: «Вместо того чтобы высчитывать, чего не удалось достичь, и делать вывод, что Россия была в меньшей степени современной, важно иметь в виду, что исторические акторы рассуждали в терминах модерности, поэтому и должны рассматриваться в этих категориях»<sup>136</sup>. Поэтому дискуссии о российской и советской модерности преимущественно строились вокруг сопоставимых элементов, а не характерных особенностей советской системы, весьма существенно отличавшейся от других современных государств. Стремление сосредоточиться на своеобразии Российской империи или СССР напоминало прежнюю, не подразумевающую сравнения установку, когда акцент делался на отсутствовавших у России качествах. Значимые работы, посвященные не просто идеям, но практикам модерности, пролили свет на политическое принуждение, революционную массовую политику и социально-идеологическую инженерию<sup>137</sup>. Сноски в трудах по советской истории оказались заполнены отсылками к Зигмунту Бауману, размышлявшему о связи между модерностью и Холокостом, и Джеймсу Скотту, теоретику государств высокого модернизма<sup>138</sup>. Стивен Коткин пошел еще дальше, заявив, что переизбыток практического модернизма – сам размах советского производственного фордизма и, если говорить шире, другие черты, из которых складывалась попытка сталинской эпохи прыгнуть выше либеральной модерности, – оказался возможным за счет подавления партией и государством частной собственности и рынка<sup>139</sup>.

Первое поколение исследователей российской / советской модерности в 1990-е и 2000-е годы не столько игнорировало ее специфические особенности, сколько обращалось к ним в последнюю очередь. В рамках теории множественных модерностей, по необъяснимым причинам совершенно не замеченной в российской историографии, культурная преемственность и идеологические структуры оказываются в центре внимания<sup>140</sup>. «Одной из важнейших посылок термина „множественные модерности“, – писал Ш.Н. Эйзенштадт, – является то, что модерность и вестернизация не тождественны; западные варианты модерности не являются единственно возможными или „подлинными“, хотя исторически первичны и остаются отправной точкой для других моделей»<sup>141</sup>. Поэтому цивилизационные формы, которые модерность принимает за пределами «родной» для нее Западной Европы, становятся ключом к объяснению не уникальности, но множественности самой модерности<sup>142</sup>. Изучение цивилизационных аспектов множественных модерностей хорошо согласуется с заявкой нового поколения постсовет-

<sup>136</sup> Kotsonis Y. Introduction: A Modern Paradox – Subjects and Citizen in Nineteenth- and Twentieth Century Russia // *Russian Modernity: Politics, Knowledge, Practices* / ed. Y. Kotsonis, D.L. Hoffmann. New York: St. Martin's, 2000. P. 1–16, цитата: P. 3.

<sup>137</sup> См. в особенности: Holquist P. *Making War, Forging Revolution: Russia's Continuum of Crisis, 1914–1921*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2002.

<sup>138</sup> См. книгу, в названии которой использована метафора Баумана: Weiner A. (ed.). *Landscaping the Human Garden: Twentieth-Century Population Management in Comparative Perspective*. Stanford, CA: Stanford University Press, 2003.

<sup>139</sup> Kotkin S. *Modern Times: The Soviet Union and the Interwar Conjunction* // *Kritika*. 2001. Vol. 2. № 1. P. 111–164.

<sup>140</sup> См.: Beer D. *Origins, Modernity, and Resistance in the Historiography of Stalinism* // *Journal of Contemporary History*. Vol. 40. № 2. 2005. P. 363–379.

<sup>141</sup> Eisenstadt S.N. *Multiple Modernities* // *Multiple Modernities* / ed. S.N. Eisenstadt. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 2002. P. 1–29, цитата: P. 2–3.

<sup>142</sup> Arnason J.P. *Communism and Modernity* // *Multiple Modernities*. P. 61–90, цитата: P. 65.

ских исследований о сталинизме как цивилизации<sup>143</sup>. Кроме того, это дает нам возможность не отодвигать в сторону, а ориентироваться на сложную историографическую традицию, прослеживающую особенности траектории Российской империи в более широком европейском контексте<sup>144</sup>. Таким образом, задача прежде всего заключается в том, чтобы соотнести существующие идеи о своеобразии России и СССР с ориентированной на сопоставление, международной перспективой множественных модерностей.

В основе этого анализа интеллигентско-элитарной модерности, зародившейся на закате Российской империи и достигшей своего пика в советскую эпоху, лежат три взаимосвязанные особенности исторического развития, охватывающие революцию 1917 года; по вышеизложенным историографическим и методологическим причинам они едва ли вообще фигурировали в дискуссии о модерности в российском контексте. Во-первых, русская интеллигенция – групповое самосознание, субкультура и ментальность, влияние которой с конца XIX века усиливалось благодаря неоднократно отмеченной слабости и разобщенности буржуазно-предпринимательского слоя, – сформировалась в попытке решить экзистенциальные дилеммы, стоявшие перед европеизированной элитой в «отсталой», но идущей путем модернизации самодержавной стране. Мировоззрение интеллигенции, во многих отношениях столь важное для российской политики, культуры и науки, сложилось как раз перед тем, как Россия начала ускоренное движение по пути модерности в конце XIX столетия<sup>145</sup>.

Хотя растущие ряды специалистов и революционеров стали ведущей силой в борьбе с царским режимом, их вдохновляли потенциальные возможности государственной власти. В будущем неавторитарном государстве они, в особенности после 1905 года, видели главную опору общественного порядка. Умеренно настроенные специалисты и профессионалы заняли позицию «сдерживания и ограничения» того, что все чаще воспринималось как «испорченный и неподатливый человеческий материал населения империи»<sup>146</sup>. Если говорить в целом, в тот же период, на который пришлось становление массовой культуры, благодаря интеллигенции выработалась удивительно единодушная покровительственная и противостоящая коммерческому духу позиция, которая являла собой оборотную сторону столь же сильного интеллигентского культа масс. Интеллигенция, оказавшаяся под влиянием новой массовой культуры, но почти по определению враждебная ей, возглавила зарождающиеся массовые политические движения. Эти существенные для революционной России факторы продолжали играть свою роль в наиболее широко распространенных явлениях советской культуры и идеологии, поскольку ряд ключевых для советского проекта коренных преобразований прошел под знаком культурной революции и создания Нового Человека.

Кроме того, как интеллигенция, так и российская массовая культура и политика испытывали серьезное влияние дореволюционного спора о национальном самосознании и историческом пути, который был вариацией на тему «Россия и Запад», и стремление прыгнуть через ступень развития после 1917 года лишь усилило эти связи. Можно с уверенностью сказать, что многие интеллектуалы и специалисты двигающихся по дороге модернизации, но не относящихся к Западу стран, таких как Япония, Османская империя, Иран и Мексика, разделяли с русской интеллигенцией убежденную веру в науку и культуру, в уклонение от зол буржуазного

---

<sup>143</sup> Ключевая работа на эту тему: *Kotkin S. Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization*. Berkeley: University of California Press, 1995.

<sup>144</sup> Я имею в виду работы Марка Раеффа, Мартина Малиа, Альфреда Дж. Рибера и Лоры Энгельштейн, о которых речь пойдет ниже.

<sup>145</sup> О последней из трех перечисленных областей см.: *Gordin M., Hall K., Kojevnikov A. (eds.). Intelligentsia Science: The Russian Century, 1860–1960*. University of Chicago Press Journals, September 2008 (Osiris. Book 23).

<sup>146</sup> *Beer D. Renovating Russia: The Human Sciences and the Fate of Liberal Modernity, 1880–1930*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2008. P. 25–26.

капитализма и сильное, контролирующее обстановку государство<sup>147</sup>. Однако то, каким образом правительство Российской империи, а затем и Советского Союза расчетливо раздувало среди интеллигенции разногласия на почве «вестернизации», привело к постоянным переходам от одной крайности – замыкающейся в себе ксенофобии – к другой – восторгу перед всем западным. Эту черту следует назвать одной из важнейших констант российского / советского пути к модерности.

Таким образом, интеллигентско-этактистская модерность была обусловлена внутренними структурными особенностями исторического развития России: политикой государственного вмешательства, самодержавием и в то же время процессами вестернизации, которые в XIX веке вызвали в обществе много споров; сильной традицией государственной службы, которую интеллигенция перенесла с государства на народ; конкуренцией и осознанием различий с Европой и «Западом», превратившимися в XIX веке в ключевой элемент российского национального самосознания; социальной, культурной и государственной раздробленностью империи, стимулировавшей стремление к централизации и единству; и, наконец, поздней, ускоренной, краткосрочной модернизацией, которая обострила уже существовавшее серьезное противостояние рыночной экономике и капитализму. Эти структурные черты исторического развития России, в свою очередь, выявили или усилили специфические культурные или цивилизационные модели, в измененной или эволюционировавшей форме сохранившиеся и после одной из величайших мировых революций: модели, в которых переплетались идеи и практики, родившиеся в попытке преодолеть отсталость и либо примкнуть к Западу, либо обогнать его за счет внутренней мобилизации и преобразования масс.

Поэтому, как мы увидим, массовая культура не была ни благополучно забыта, ни, если говорить в контексте Советского Союза, выделена в обособленную самодостаточную сферу; скорее речь шла о длительном, напряженном процессе преодоления барьера между высоким и низким. Подобные попытки предпринимались и в других условиях, однако не в таком масштабе, какой позволяло воздействие советской власти на культуру, включавшее в себя и весьма изощренную цензуру, и экономику культурного производства. Так существовавшие в Российской империи и среди интеллигенции установки на просвещение народных масс и истребление рынка, нашедшие отражение во всеобщем страхе перед «бульварными» коммерческими развлечениями и мещанством, наложили отпечаток на изначальное стремление коммунистов построить альтернативную нелиберальную, не-западную модерность. Но поскольку интеллигентская традиция культуртрегерства просеивалась сквозь официальную идеологию революционного государства, представители элиты изменились еще сильнее, чем массы. Жесткий догматизм интеллигентско-этактистской модерности препятствовал рефлексии, не давая проанализировать происходящее с опорой на знания и опыт, поэтому вскоре закрыл советской системе путь к переменам.

## **SATTELZEIT В РОССИИ: МОДЕРНОСТЬ УСКОРЕННОГО И СКАЧКООБРАЗНОГО РАЗВИТИЯ**

Столетие, середина которого приходится на 1800 год, Райнхарт Козеллек обозначил словом 'Sattelzeit' (от 'Sattel' – «седло», то есть буквально «седловым», или переходным, временем от начала эпохи модерности к ее зрелому периоду), подразумевая зазор и прорыв в ускоренном эпистемологическом преобразовании Центральной и Западной Европы<sup>148</sup>. Бьорн Виттрок, раз-

---

<sup>147</sup> Hoffmann D.L. *Cultivating the Masses: Soviet Social Intervention in Its International Context, 1914–1939*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2011. P. 100–101.

<sup>148</sup> Koselleck R. *The Practice of Conceptual History: Timing, History, Spacing Concepts (Cultural Memory in the Present)*. Stanford, CA: Stanford University Press, 2002. P. 5.

вывая это понятие в контексте множественных модерностей, объяснил, что быстрое формирование ключевых концепций современности и коллективных идентичностей произошло после того, как принадлежность к сообществу и лояльные отношения между правителем и подданными уже не могли восприниматься как данность<sup>149</sup>. Если руководствоваться такими критериями, можно сказать, что, учитывая, насколько сильным было в России влияние Просвещения и романтизма, *Sattelzeit* здесь наступил позже, чем в Европе. Российская модерность начала настоящему обретать очертания лишь в позднеимперский период.

Революционная мобилизация масс и попытка радикально настроенных представителей общества преобразовать их казались, как и само явление массовой культуры, наряду с поздно и необыкновенно стремительно начавшейся в России модернизацией, которая последовала за освобождением крестьян в 1861 году и Великими реформами, ключевыми для анализа российского пути к модерности. Этот период сопровождался некоторыми глубокими и сложными изменениями, в силу которых последствия модернизации в России нарастающими темпами выходили далеко за относительно узкие рамки элит и крупных городов. Европеизация России шла уже полтора столетия, но именно тогда, благодаря характеру происходивших перемен и их скорости, привела к более многообразным последствиям. За очередной волной поддерживаемой государством вестернизации в эпоху Великих реформ, распространением денежной экономики, ускоренной урбанизацией и ростом числа работников умственного труда к концу века последовали спровоцированный правительством рывок к индустриализации, расширение городского рабочего класса и зачаточное развитие общества потребления. Все эти перемены дали возможность интеллигенции и происходившим из нее представителям революционного движения установить связь со слушателями и последователями «из народа». Поэтому движение в сторону модерности приобрело в России более массовый характер в условиях во многом неприспособленного самодержавия и все еще живой системы старорежимных сословий. Если, размышляя о Петербурге эпохи Николая I, Маршалл Берман говорил о фантазмагорической российской «модерности недоразвития», в период поздней империи она трансформировалась в модерность ускоренного и скачкообразного развития<sup>150</sup>.

Отвергая представления об однолинейном переходе от традиционного к современному, Альфред Рибер указал на «противоречия, аномалии, архаизмы и отклонения», присущие позднему имперскому периоду. Для их описания он придумал термин «осадочное общество», то есть общество, в котором «одна за другой рождались новые социальные формы, и каждая из них составляла новый слой, покрывавший все общество или большую его часть, причем более ранние, оставшиеся на глубине формы при этом не менялись». Существенно, что он продолжил развивать эту схему: «В Советской России, как и в Российской империи, проблема заключалась в том, чтобы насадить ценности господствующей культуры в этих более глубоких слоях общества, не затронутых становлением поверхностных социальных и институциональных форм, надстраиваемых сверху»<sup>151</sup>.

Самые убедительные теории исторического развития России строятся вокруг этой ускоренной дореволюционной модернизации, ее парадоксов и противоречий, а также временной неравномерности (*Ungleichzeitigkeit*), с которой происходила европеизация России. Промежуток между усвоением европейских практик и идей и специфически российской «соционститу-

---

<sup>149</sup> Wittrock B. Modernity: One, None, or Many? European Origins and Modernity as a Global Condition // Multiple Modernities. P. 31–60, здесь P. 44. См. также: Wittrock B., Heilbron J., Magnusson L. The Rise of the Social Sciences and the Formation of Modernity // The Rise of the Social Sciences and the Formation of Modernity: Conceptual Change in Context, 1750–1850 / ed. J. Heilbron, L. Magnusson, B. Wittrock. Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 1998. P. 1–34.

<sup>150</sup> Berman M. All That Is Solid Melts into Air: The Experience of Modernity. New York: Simon and Schuster, 1982. Part 4.

<sup>151</sup> Rieber A.J. The Sedimentary Society // Between Tsar and People: Educated Society and the Quest for Public Identity in Late Imperial Russia / ed. E.W. Clowes, S.D. Kassow, J.L. West. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1991. P. 343–366, цитаты: P. 361–362, 365.

циональной матрицей» модернизации послужил основой для знаковой работы Марка Раеффа о регулярном полицейском государстве<sup>152</sup>. Мартин Малиа писал о восточно-западном «культурном градиенте», в котором, например, Россия вышла на уровень развития 1848 года только в 1905 году. Однако за проводимыми Малиа аналогиями временных задержек стоял более сложный подход: «Политическая формула, родившаяся в результате отставания России, состояла в хроническом сжатии или схлопывании – а значит, хронической радикализации – стадий современного движения к демократии». Что немаловажно, Малиа говорит об «особом пути каждой нации в рамках восточно-западного культурного градиента, охватывающего ряд *Sonderwege* [особых путей] от Атлантики до Урала»<sup>153</sup>. Мысль о множестве особых путей в Европе, высказанная Малиа, фактически может считаться ответом на возражение Купера: «Если все альтернативные модерности являются альтернативами европейской модерности, значит, некоему набору культурных признаков приписывается европейское происхождение, а другие наборы признаков сквозь эпохи связываются с какой-то группой людей, через что бы она ни определялась, как в случае с китайской или исламской модерностью»<sup>154</sup>. На самом деле ответом здесь может быть только совет избегать смешивания разнообразных траекторий в однородную европейскую модерность.

Раефф и Малиа нашли яркие формулировки для описания тенденции неровного, парадоксального движения к модерности под эгидой проводящего двойственную политику модернизации самодержавного государства. Лора Энгельштайн попыталась уловить исключительность положения российских, а затем и советских интеллектуалов и работников умственного труда в условиях несвободного старорежимного государства, сохранившегося в эпоху, когда «современные механизмы социального контроля и социальной самодисциплины, восходящие к западным практикам, уже сформировались». Люди свободной профессии и представители интеллигенции в целом вынужденно замерли в странной, двойственной позе между авторитарным государством и массами: «Русские интеллектуалы, сами лишённые доступа к власти, одновременно зависели от государства и презирали его, стремясь к союзу с недовольными низами и одновременно будучи культурно связанными с носителями более высокого социального статуса»<sup>155</sup>. Подобно критике капитализма, появившейся в России до самого капитализма, викторианские представления о благопристойности (как и, заметим в скобках, множество других интеллектуальных и научных заимствований) подверглись переосмыслению или оказались поставлены под вопрос, еще не успев прижиться на российской почве<sup>156</sup>. Разумеется, ясно, что Энгельштайн касалась этих особенностей, намекая на отклонение от «западного стандарта» в случае Российской империи и на «иллюзию модерности» в случае Советского Союза<sup>157</sup>. Но с

<sup>152</sup> *Raeff M. The Well-Ordered Police State and the Development of Modernity in Seventeenth- and Eighteenth-Century Europe // American Historical Review. Vol. 80. № 5. 1975. P. 1221–1243, цитаты: P. 1238, 1242; см. также: Raeff M. The Well-Ordered Police State and Institutional Change in the Germanies and Russia, 1600–1800. New Haven, CT: Yale University Press, 1983.*

<sup>153</sup> *Malia M. The Soviet Tragedy: A History of Socialism in Russia, 1917–1991. New York: Free Press, 1994. P. 65; Malia M. Russia under Western Eyes: From the Bronze Horseman to the Lenin Mausoleum. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999. P. 103.*

<sup>154</sup> *Cooper F. Modernity // Colonialism in Question: Theory, Knowledge, History. Berkeley: University of California, 2005. P. 114.*

<sup>155</sup> *Engelstein L. Combined Underdevelopment: Discipline and the Law in Late Imperial and Soviet Russia // American Historical Review. Vol. 98. № 2. 1993. P. 338–353, цитата: P. 343 (примечательно, что в названии этой статьи обыгрывается принадлежащая Троцкому формулировка концепции «комбинированного развития»); Engelstein L. The Keys to Happiness: Sex and the Search for Modernity in Fin-de-Siècle Russia. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1992. P. 4.*

<sup>156</sup> См. классический, вызывающий множество ассоциаций пример: *Todes D.P. Darwin without Malthus: The Struggle for Existence in Russian Evolutionary Thought. New York: Oxford University Press, 1989.*

<sup>157</sup> О «западном стандарте» см.: *Engelstein L. Keys to Happiness, 4; об «иллюзии модерности» – Engelstein L. Combined Underdevelopment. P. 353. См. размышления самой Энгельштайн над тем, как она использует понятие модерности, в интервью с ней: An Interview with Laura Engelstein // Kritika. 2014. Vol. 15. № 4. P. 689–690. Исследователи неоднократно говорили об иллюзорности самого понятия западного стандарта – о его влиянии на российскую историографию см., например: *Confino M. Questions of Comparability: Russian Serfdom and American Slavery // Explorations in Comparative History / ed. B.Z. Kedar. Jerusalem: Magness Press, 2010. P. 92–112.**

таким же успехом их можно считать важной составляющей одной из уникальных форм модерности<sup>158</sup>.

## СЛУЖИТЬ МАССАМ И ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ ИХ

Понятие интеллигенции, группы за пределами сословной иерархии общества, враждебно настроенной по отношению к самодержавию и к существующему положению вещей, возникло в начале этого периода усиленных преобразований в середине XIX века и отражало некоторые глубинные исторические структуры. Освобождение дворян от обязательной службы при Екатерине II, изменившее давнюю традицию в отношении элиты, способствовало перенесению симпатий последней с правителя и государства на народ<sup>159</sup>. Здесь также можно усмотреть отголосок серьезного культурного разрыва, последовавшего за началом вестернизации и сопутствующими ей спорами о национальном самосознании. Натаниэл Найт полагает, что идея интеллигенции возникла после 1860-х годов и упрочилась в 1880-х как «дополнение или бинарная противоположность другой ключевой концепции русской социальной мысли – понятия народа». Важное для XIX столетия слово «народ», тогда относившееся в основном к крестьянам, лишь постепенно приобретало новые, этнические и национальные, коннотации, сближавшие его с понятием «нация» (слово «массы» появилось позже, между революциями 1905 и 1917 годов). Лишь при Николае I слово «народ» стало обозначать те социальные слои, которые были хранилищем исконно русской культуры, а само представление о ней возникло как раз в ходе происходивших в ту же эпоху бурных споров о России и Западе. Если цитировать Найта, «определение народа как тех, кого не затронула западная культура, подразумевает наличие противоположной группы, основой самоопределения которой служит как раз отождествление с универсалистскими ценностями просвещенной Европы»<sup>160</sup>. Культурная однородность стала восприниматься как условие самосознания России; целостность культуры призвана была восстановить единство между «двумя Россиями» – европеизированной элиты и народа. В этом был пафос миссии интеллигенции, стремившейся познакомить массы с высокой (околозападной) культурой; о самой интеллигенции при этом неоднократно говорили, что она преклоняется перед народом<sup>161</sup>.

Поэтому еще до широкого распространения к концу XIX века тесно связанной с Западом коммерческой массовой культуры (городские увеселения коммерческого типа существовали по меньшей мере с XVII столетия) сформировалась группа, объединенная миссией нести просвещение в массы. «С точки зрения русских интеллектуалов, возникновение форм культуры, призванных приносить прибыль, не только подрывало более высокие эстетические и нравственные цели элитарной культуры, но и угрожало нетронутой, первозданной народности, народной культуре»<sup>162</sup>. Конечно, темпы промышленного развития и урбанизации стимулировали поиск альтернативных способов излечения от болезней, сопряженных с ранними этапами модерности, расширяя границы этого типичного сочетания антимодерного и модернизма. В

---

<sup>158</sup> Понятие интеллигентской «полугосударственной структуры», предложенное Питером Холквистом, как раз может считаться такой своеобразной, но при этом современной чертой (Making War, spec. P. 14, 21).

<sup>159</sup> Это тезис Марка Раеффа: *Raeff M. The Origins of the Russian Intelligentsia: The Eighteenth-Century Nobility*. New York: Harcourt, Brace, and World, 1966. См. новый критический обзор исследований, посвященных русской интеллигенции в разные периоды: *Hamburg G. The Russian Intelligentsias // A History of Russian Thought / ed. W. Leatherbarrow. D. Offord. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. Part 3.*

<sup>160</sup> *Knigh N. Was the Intelligentsia Part of the Nation? Visions of Society in Post-Emancipation Russia // Kritika. 2006. Vol. 7. № 4. P. 733–758, цитата: P. 748.*

<sup>161</sup> *Бойм С. За хороший вкус надо бороться! Соцреализм и китч // Соцреалистический канон / Ред. Х. Гюнтер, Е. Добренко. СПб.: Академический проект, 2000. С. 87–100, здесь приведена цитата со с. 91.*

<sup>162</sup> *Smith S., Kelly C. Commercial Culture and Consumerism. Chap. 2 // Constructing Russian Culture in the Age of Revolution, 1881–1941. Oxford: Oxford University Press, 1998. P. 113, 152.*

эпоху массовой печати и ускоренной урбанизации популярные платные развлечения изображались как зло, недалеко отстоявшее от эксплуатации фабричного труда или публичных домов. Итогом стал настоящий крестовый поход с целью «донести до необразованных классов национальную, „высокую“ культуру и истребить отсталость, невежество и распущенность»<sup>163</sup>.

Просветительская миссия интеллигенции не помешала пышному расцвету новых популярных культурных жанров, сосуществовавших с более старыми, и это лишь усилило тревогу, вызванную наступлением современной эпохи. Однако распространенность традиции культуртрегерства оставила глубокий след. Вадим Волков высказал мысль, что само употребление слова «культура» в современном русском языке (в противовес доминировавшему раньше слову «просвещение») восходит к первым масштабным попыткам интеллигенции в 1870-е годы «осуществить миссионерскую идею, неся образование и культуру отсталым массам». Культура «стала пониматься как разновидность ценности, которую можно накапливать, намеренно передавать более обширным группам населения и которую те, в свою очередь, могут принять»<sup>164</sup>. Именно таким было советское определение.

Отсюда парадокс стремления интеллигенции просить прощения и учиться у людей, которых она сама же пыталась научить и наставить, парадокс одновременно попытки вести за собой и идти вслед, присущий не только революционному движению, но и интеллигентской культуре в целом начиная с народнического периода 1860–1880-х годов. Благодаря культу масс интеллигенция, как и принято считать, была очень близка к сочувствию деятельности левых, революционеров и оппозиции в народной среде, однако потребность цивилизовать массы, по иронии судьбы, придавала культуртрегерскому интеллигентскому импульсу сходство со стремящимся к контролю государством, отчасти – с чиновничьим аппаратом и, разумеется, в некоторых планах – со всеми элитами. Как сказал Ричард Стайтс, «интеллектуалов, цензоров, священников, врачей и революционеров – как бы остры ни были разногласия между ними – часто объединяла враждебность к новой [массовой] культуре, которую они напрямую связывали с безнравственностью»<sup>165</sup>.

Какой отпечаток полвека интенсивной «просветительской работы» и войны интеллигенции против отсталости наложили на сами «массы»? В определенном смысле – очень несущественный: популярная коммерческая культура процветала, а интеллигенция по-прежнему почти никак не могла повлиять на повседневную жизнь огромной империи. Однако все же можно отметить некоторые последствия, позже многократно усиленные Октябрьской революцией. Во-первых, по-новому «сознательные» заводские рабочие и рабочее движение формировались в непрерывном диалоге с интеллигенцией; обе группы находились вне официальной сословной иерархии и с 1890-х годов составляли костяк революционного движения. Выдающийся историк рабочего класса Реджинальд Зельник писал об этом «взаимодействии интеллигенции и рабочих» и о возникновении новой прослойки – «полуинтеллигенции», представители которой либо сознавали тесную связь со своими учителями из интеллигенции, либо – парадоксальным образом, как в случае некоторых леворадикальных революционных интеллектуалов, – развивали «враждебные по отношению к интеллигенции взгляды»<sup>166</sup>. Предвосхищая многие коллизии ранней советской культуры, немалая часть таких рабочих-интеллигентов – членов образовательных обществ и профсоюзов, участников рабочих театральных кружков и пролетарских культурных групп – искала самоутверждения и пыталась усвоить традиционную

---

<sup>163</sup> Вихавайнен Т. Внутренний враг: борьба с мещанством как моральная миссия русской интеллигенции. СПб.: Коло, 2004.

<sup>164</sup> Volkov V. The Concept of Kulturmos't: Notes on the Stalinist Civilizing Process // Stalinism: New Directions / ed. Sh. Fitzpatrick. New York: Routledge, 2000. P. 210–230, цитаты: P. 212.

<sup>165</sup> Sites R. Russian Popular Culture: Entertainment and Society since 1900. Cambridge University Press, 1992. P. 12.

<sup>166</sup> Zelnik R.E. Introduction // Workers and Intelligentsia in Late Imperial Russia: Realities, Representations, Reflections. Berkeley: University of California International and Area Studies, 1999. P. 1–15, здесь приведены цитаты: P. 2, 9.

высокую культуру<sup>167</sup>. В то же время утверждение в «сознательной» рабочей среде интеллигентской категории культурности начиная с 1880-х годов было напрямую связано со спорами о России и Западе<sup>168</sup>. Прочитую Стива Смита: «Культурность была социологической категорией, служившей для оценки уровня цивилизации, достигнутого тем или иным обществом на пути эволюции. В этом плане для России считался характерным как раз низкий уровень культурности, сближающий ее скорее с „азиатским“ варварством, чем с западноевропейской цивилизованностью. Категория культурности, подразумевавшая прямую связь между развитием личности и развитием цивилизации в обществе, могла использоваться в радикальных политических целях»<sup>169</sup>.

Отвернувшись от карнавальных и провокационных традиций, из которых в основном складывалась народная русская культура, «„сознательные“ рабочие усвоили такой же осуждающий взгляд» на некультурное поведение, как и представители элиты<sup>170</sup>. В своей работе о пролетарских писателях Марк Д. Стейнберг высказывает мысль, что эти рабочие-интеллигенты часто являлись культурными маргиналами, для которых творческие притязания «косвенно оспаривали их принадлежность к низшему классу, нарушая установленные границы... между популярной и высокой литературной культурой». Олицетворяя таким образом усилие снизу преодолеть роковой разрыв между интеллигенцией и народом, они отвергали простой народный язык и, как правило, имитировали высокий литературный стиль, беря уже на себя миссию распространения сознательности и просвещения. Так подобные аномальные фигуры стали «важными проводниками идей, лексикона и образов на границе между образованной прослойкой и массами»<sup>171</sup>.

Подобная же, даже более значимая модель запоздалого распространения ключевой для интеллигенции миссии сформировалась в недрах специфически русского варианта осмысления своей истории, начало которому положили пионеры традиции интеллигентской мысли 1830–1840-х годов, В.Г. Белинский и А.И. Герцен. Они полагали, что и отсталость России, и буржуазное филистерство Европы должны быть преодолены, как предположил Йохен Хелльбек, за счет формирования «критически мыслящих» и «действующих в истории» личностей. Эта концепция личности оказала серьезное влияние на «социальную, политическую и культурную жизнь России» позднего имперского периода. Родственный – как нетрудно заметить – проект преобразования личности как части коллектива, находящегося в фазе исторической трансформации, в начале советской эпохи приобрел массовый характер<sup>172</sup>. Можно проследить прямую связь между взаимоотношениями интеллигенции и рабочих в революционной России и восприятием личности в сталинскую эпоху.

Просветительская кампания отразилась и на российской массовой культуре. Хотя выгода в кругу интеллигенции была почти что запретной темой, на рубеже веков на сцене оказалось «новое поколение» коммерчески успешных художников и писателей. Лев Толстой, отрицавший коммерческие ценности, сотрудничал с самым находчивым предпринимателем на массовом издательском рынке, Иваном Сытиным, назвавшим свое издательство «Посредни-

<sup>167</sup> См., например: *Swift E.A.* 'Workers Theater' and 'Proletarian Culture' in Prerevolutionary Russia, 1905–1917 // *Workers and Workers and Intelligentsia in Late Imperial Russia*. P. 260–291.

<sup>168</sup> Об этом см.: *Kelly C.* *Refining Russia: Advice Literature, Polite Culture, and Gender from Catherine to Yeltsin*. Oxford: Oxford University Press, 2001.

<sup>169</sup> *Smith S.A.* The Social Meanings of Swearing: Workers and Bad Language in Late Imperial and Early Soviet Russia // *Past and Present*. Vol. 160. № 1. 1998. P. 167–202, цитата: P. 78.

<sup>170</sup> *Smith S.A.* The Social Meanings of Swearing. P. 181.

<sup>171</sup> *Steinberg M.D.* Worker-Authors and the Cult of the Person // *Cultures in Flux: Lower-Class Practices, Values, and Resistance in Late Imperial Russia* / ed. S.P. Frank, M.D. Steinberg. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994. P. 171, 174; *Steinberg M.D.* *Proletarian Imagination: Self, Modernity, and the Sacred in Russia, 1910–1925*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2002.

<sup>172</sup> *Hellbeck J.* Introduction и *Russian Autobiographical Practice* // *Autobiographical Practices in Russia / Autobiographische Praktiken in Russland* / ed. J. Hellbeck, K. Heller. Göttingen: V&R unipress, 2004. P. 11–24, 278–298, цитаты: P. 13, 290.

ком», что соответствовало его собственной роли как посредника между интеллигенцией и массами. «Полвека культурной работы интеллигенции, – по выражению Катрионы Келли и Стива Смита, – не прошли бесследно для популярной культуры». Массовая культура «вобрала в себя некоторые моралистические черты, присущие не только традиции интеллигентской мысли, но и глубоко религиозной народной жизни»<sup>173</sup>.

Несмотря на единодушно враждебное отношение интеллигенции ко всему «бульварному», на закате империи массовая культура, с ее бурно разрастающимися новыми жанрами, оказала существенное влияние на средний и низший классы общества. На низших уровнях массовая культура распространяла своего рода космополитизм, с точки зрения которого зарубежье, Запад и экзотические местности были средоточием секулярных ценностей, воплощая процветание индивидуального таланта и житейской самоуверенности<sup>174</sup>. В отношении средней прослойки российского общества, которую обычно называют отсутствующим средним классом и для которой характерны разобщенность и слабость предпринимательской буржуазии, анализ с позиций коммерческой массовой культуры особенно показателен. С одной стороны, представители средних социальных групп подражали интеллигентам. Становлению обывательской культуры досуга способствовала группа, которую Луиза Макрейнолдс даже назвала «гибридной категорией», «буржуазной интеллигенцией», в ряды которой входили такие фигуры, как частные театральные антрепренеры Ф.А. Корш и А.С. Суворин. С другой стороны, учитывая, что ценности среднего класса и коммерческая культура соединяли в себе все то, что интеллигенция осуждала, бурное развитие массовой культуры в предшествующий революции период обусловило ситуацию, при которой буржуазия в России «ярче проявляла себя в культурной деятельности, нежели в политической»<sup>175</sup>. В этом плане сфера культуры была главным полем битвы в период ускоренного и скачкообразного развития модерности на закате Российской империи.

Ни попечение интеллигенции и государства, ни ненависть к массовой культуре как символу недугов западной или буржуазной модерности не были уникальными российскими явлениями. Но размах, какой приняло стремление переделать массы в эпоху ускоренной модернизации России после периода *Sattelzeit*, побудил некоторых исследователей говорить о специфически российской форме внутренней колонизации<sup>176</sup>. В сочетании с тоталитаристскими претензиями новой партийной диктатуры и тенденцией к полностью национализированной плановой экономике эти явления содействовали рождению советской цивилизации, не без основания позиционировавшей себя как беспрецедентную и единственную в своем роде.

## ОТ РЕВОЛЮЦИОННОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ К ВСЕОБЩЕМУ ЕДИНООБРАЗИЮ

Партийное государство, рожденное в эпоху войны и революции, во многих отношениях кардинально отличалось от старого царского режима. Но даже при самых резких разрывах сохраняются элементы преемственности. Многие черты раннего советского коммунизма, стремившегося к радикальным переменам в попытке одним прыжком в альтернативное будущее

---

<sup>173</sup> *Smith S., Kelly C. Constructing Russian Culture. P. 125, 154; Ruud Ch.A. Russian Entrepreneur: Publisher Ivan Sytin of Moscow, 1851–1934. Montreal: McGill-Queens University Press, 1990. P. 30–33. См. также: Otto R.C. Publishing for the People: The Firm Posrednik 1885–1905. New York: Garland Publishing, 1987.*

<sup>174</sup> *Brooks J. When Russia Learned to Read: Literacy and Popular Literature, 1861–1917. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1988; Smith S., Kelly C. Constructing Russian Culture. P. 117, 121.*

<sup>175</sup> *McReynolds L. Russia at Play: Leisure Activities at the End of the Tsarist Era. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2003, цитаты: P. 55–56, 293.*

<sup>176</sup> См., например: *Эткинд А. Хлыст: секты, литература, революция. М.: Новое литературное обозрение, 1998; Эткинд А. Внутренняя колонизация. Имперский опыт России. М.: Новое литературное обозрение, 2018.*

обогнать либеральную модерность: запрет частной собственности и рыночных отношений, массовое насаждение марксизма-ленинизма, замысел создания новой культуры и Нового Человека, – в некоторой степени продолжали российскую традицию. Некоторые связи объяснялись тем, что новый режим возглавили представители прежней радикальной интеллигенции и революционного движения. Многие из этих элементов преемственности, сохранившихся по ту сторону революции, восходили к логике культурной, политической или интеллектуальной жизни, которая, в свою очередь, определялась глубинными закономерностями российской истории. Но другие были обусловлены именно формированием революционного большевистского правительства из прежней радикальной интеллигенции. В политизированной и революционной форме прежнее горячее стремление к просвещению масс и искоренению порочного филистерства рынка соединились с беспрецедентной принудительной силой новой диктатуры. Эта смесь стала сердцевинной интеллигентско-элитарной модерности.

Воплощением рокового сочетания интеллигентского просветительства и большевистского элитизма стали два основоположника советской культуры – Анатолий Луначарский и Максим Горький. Основная деятельность Луначарского, который был первым наркомом просвещения с 1917 по 1929 год, пришлась на ленинскую эпоху; Горький, в начале 1920-х годов разошедшийся с Лениным, вернулся в конце этого десятилетия, став единственной крупной фигурой, способствовавшей формированию сталинизма в культуре. Хотя Горький, изначально беспартийный большевик, так и не вступил в партию, его, как и Луначарского, ассоциировали с тем же кругом левых большевиков, представители которого сформировались в образовательных учреждениях Капри, Болоньи и Лонжюмо, где в довоенные времена жили некоторые члены партии и откуда во многом пришел ранний советский взгляд на культуру<sup>177</sup>. Идеейно оба были близки к течению богостроительства, которое, вбирая в себя элементы нищезанятия и интеллектуальных течений Серебряного века, вносило коррективы в классический марксизм, чтобы сделать главными задачами революции создание новой социалистической культуры, веры и мировоззрения. Но Горький и Луначарский иногда защищали прежнюю интеллигенцию, много сил вложившую в создание нового; оба необычайно последовательно ей покровительствовали, хотя Луначарский отдавал предпочтение авангарду и ведал культурой в период нэпа, в то время как Горькому были больше по душе не столь экспериментальные и более монументальные формы, а его влияние достигло пика в эпоху сталинской революции и становления социалистического реализма. Оба они, каждый в свое время, стояли у истоков множества новых учреждений.

В начале новой эры Луначарский, как известно, объявил себя «интеллигентом среди большевиков и большевиком среди интеллигентов», а Горький, заступаясь в Гражданскую войну за интеллигенцию перед мстительно настроенным Лениным, воскликнул: «Мы, спасая свои шкуры, режем голову народа, уничтожаем его мозг»<sup>178</sup>. В общем, оба эти культурных колосса ранней советской и сталинской эпохи были истинными наследниками просветительской миссии русской интеллигенции и сыграли ключевую роль во внедрении этой миссии в большевистскую политику и идеологию. Но в конечном итоге система, которую они помогали строить, стала препятствовать им, а затем проигнорировала: в конце эпохи нэпа Луначарский был отстранен от должности и оттеснен на второй план, а Горький оставался легендарной фигурой, но свобода его после размолвки со Сталиным около 1934 года была ограничена.

Но советская культура включила и вобрала в себя не только большевизм; мечта об органическом культурном единообразии возникла также отчасти под влиянием интеллигент-

<sup>177</sup> Мои размышления на эту тему можно найти в работе: *David-Fox M. Revolution of the Mind: Higher Learning among the Bolsheviks, 1921–1929.* Ithaca, NY: Cornell University Press, 1997, spec. P. 26–45.

<sup>178</sup> Письмо А.М. Горького В.И. Ленину от 6 сентября 1919 года // Бялик Б.И. Горький и его эпоха: Исследования и материалы. М.: Наука, 1994. С. 29. В ответном письме Ленина от 15 сентября 1919 года, как известно, была фраза: «На деле это не мозг, а г...» (*Ленин В.И. Полное собрание сочинений.* Т. 51. С. 48).

ции. Свое новаторское толкование «экосистемы» ранней советской культуры Катерина Кларк начала с анализа существовавшего до Первой мировой войны «романтического антикапитализма» как феномена, выходящего за пределы большевизма. Как и многие другие обсуждаемые в данном контексте черты, романтический антикапитализм можно считать международным явлением, характерным и для многих других стран, но его масштабы и сила в России были необыкновенны. Общим был не только «отказ от рынка и коммерциализации культуры», но и другие корни ключевых особенностей советского периода. Критика разобщенности и индивидуализма часто приводила к «мечте об обществе, где все были бы подлинно едины, своего рода светской религии единства». Продолжая более ранние поиски единой национальной культуры, эта мечта о единообразии подразумевала «абсолютизацию того или другого полюса в иерархиях высокого и низкого... исключая возможность какого-то среднего между ними пути»<sup>179</sup>. Кроме того, как подчеркивается во многих недавних работах, на заре Советского Союза представители умственного труда и передовые интеллектуалы – уцелевшая интеллигенция, оставшаяся практически единственной из всего общества элитарной группой, которую не травмировала социальная революция, – во многих своих воспитательных и учительных начинаниях перекликались с большевиками, хотя партийное государство и не позволяло результатам их деятельности выйти за отведенные им узкие рамки<sup>180</sup>.

В эпоху «массификации», если использовать понятие, которое было в ходу в 1920-е годы, большевистская и советская миссии не только радикально расширили область приложения просветительского импульса интеллигенции – централизованная власть партийного государства придала ему необычайный разрушительный и созидательный размах. Разрушительный эффект описать легче. Атака на коммерческую культуру развернулась сразу после Октябрьской революции – начало ей положил декрет, запрещающий несанкционированную партией рекламу, а также национализация издательств, киностудий и средств массовой информации. В промежуточный период новой экономической политики была разрешена частичная приватизация, но при этом возникла своего рода цензура и самоцензура, способствовавшая радикальному преобразованию и регулированию культуры, которые зачастую в первую очередь привлекали внимание исследователей. Однако существенно, что культурное производство превратилось в итоге в не что иное, как отрасль плановой экономики. Формирование советской культуры было непосредственно связано с ключевыми экономическими и политическими механизмами советской системы, запущенными в межвоенное время.

«Коммунисты своими декретами делали то, что хотела сделать прежняя интеллигенция, – так сформулировал это Ричард Стайтс, – давая народу то, что, по их мнению, приносило ему пользу, а не то, чего он хотел». В 1920-е годы популярную культуру со всех сторон обступило воздействие политизации и морализации, что приводило к урезыванию и вытеснению многих жанров, а также многочисленным конфликтам между революционно-политической риторикой и «голодом» по развлечениям<sup>181</sup>. Пик подавления партией и интеллигенцией популярной культуры пришелся на сталинский «великий перелом» 1928–1931 годов, который «почти разрушил народную и популярную культуру». Это было время, когда «догматизм привел к утрате массовой культурой ее популярности»<sup>182</sup>. Пятилетка ознаменовалась полной национализацией издательского дела и других форм культурного производства и господством воинствующих организаций «пролетарских» писателей, музыкантов и т.д. – во главе которых стояли представители

<sup>179</sup> Clark K. Petersburg, *Crucible of Cultural Revolution*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1995. P. 17.

<sup>180</sup> См. заслуживающие внимания новые исследования на эту тему: Beer D. *Renovating Russia*; Papazian E. *Manufacturing Truth: The Documentary Moment in Early Soviet Culture*. DeKalb: Northern Illinois University Press, 2009.

<sup>181</sup> Stites R. *Russian Popular Culture*. Part 2. Цитаты: P. 41, 52; см. также: Smith S., Kelly C. *Constructing Russian Culture*. P. 152–154.

<sup>182</sup> Von Geldern J. Introduction // *Mass Culture in Soviet Russia: Tales, Poems, Songs, Movies, Plays, and Folklore 1917–1953* / ed. J. von Geldern, R. Stites. Bloomington: Indiana University Press, 1995. P. xvi.

партийной интеллигенции, – боровшихся прежде всего с неполитическим искусством, развлечениями и культурными «пережитками» прошлого. Жанры, которые в период смешанной экономики нэпа пользовались как популярностью, так и финансовым успехом: джаз, научная фантастика, детективные романы и в целом все разновидности легкой развлекательной культуры, – подверглись резкой критике или превратились в явно политизированные формы, после того как активисты назвали их западными и буржуазными. Так, в сталинскую эпоху продолжала создаваться какая-то узкотематическая научная фантастика, но как попытка представить альтернативные утопии этот жанр вымер<sup>183</sup>.

Желание приобрести статус и авторитет посредством усвоения доступной высокой культуры в первую очередь ассоциируется с восходящей мобильностью «нового класса» сталинской эпохи, но расхождения между этими устремлениями рабочих и утопическими планами интеллигентов начались сразу же после революции – в Пролеткульте, первой пролетарской культурной организации<sup>184</sup>. Кампания середины – конца 1930-х годов, направленная на повышение «культурности», была глубоко укоренена в советском «процессе насаждения цивилизации», начатом в 1920-е годы, и обладала тем же характерным признаком – стремлением к рационализации и политизации повседневной жизни, а также к окультуриванию «отсталых» национальных меньшинств и групп населения<sup>185</sup>. Такие области, как пропаганда гигиены и научная организация досуга, включавшие в себя дискуссии на темы домашнего хозяйства, одежды, этикета и сексуальных отношений, не говоря уже о пестрых попытках изменить привычки и ценности, таких как «борьба за культурную речь», начатая в 1923–1924 годах, отражали смешение намерений интеллигентов и партии в явлении, широко известном как культурная революция<sup>186</sup>. Новый советский человек должен был стать не только социалистом и коллективистом, но и усердным работником, преданным государству, а еще носителем культуры. В этом отчасти сходились интеллигенты и большевики, а потому, тоже отчасти, прозападно настроенные и низшие классы, русские и этнические меньшинства. Но преобразовательное движение продолжалось и на внутреннем уровне, поскольку коллективистское переделывание личности обладало большой привлекательностью для многих участников революционного проекта<sup>187</sup>.

Большевистская революция облекла прежнюю одержимость национальным самосознанием в усиленное идеологическое и геополитическое соперничество, в рамках которого Запад как модель и как другой стал – как это часто было с незападными или постколониальными дорогами к модерности – определяющим фактором всей системы. Обещание обогнать Запад (в обличи буржуазно-демократического индустриального капитализма) способствовало тому, что долгое время характерный для России феномен – ускоренное прохождение этапов модерности – проявлялся с еще большей силой, на этот раз в попытке совершить прыжок в альтернативное социалистическое будущее. Обещание создать исторически превосходящую политическую и экономическую систему и в конечном счете превосходящую культуру и общество освобождало от проклятия отсталости, но по-прежнему ценой выхода из-под опеки прогрессивного Запада. Цель «догнать и перегнать» подразумевала ориентацию на, возможно, изме-

<sup>183</sup> На эту тему см. в том числе: *Sities R. Revolutionary Dreams: Utopian Vision and Experimental Life in the Russian Revolution*. Oxford: Oxford University Press, 1989. Chap. 11.

<sup>184</sup> *Mally L. Culture of the Future: The Proletkult Movement in Revolutionary Russia*. Berkeley: University of California, 1990. Chaps. 4–5.

<sup>185</sup> *Hoffmann D.L. Stalinist Values: The Cultural Norms of Soviet Modernity*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2003. Chap. 1; *Kaier Ch., Naiman E. (eds.). Everyday Life in Early Soviet Russia: Taking the Revolution Inside*. Bloomington, Indiana University Press, 2006.

<sup>186</sup> См.: *Beer D. Renovating Russia; Kucher K. Der Gorki-Park: Freizeitkultur im Stalinismus 1928–1941*. Cologne: Böhlau Verlag, 2007. О культурной речи см.: *Smith S. The Social Meanings of Swearing*. P. 192–193.

<sup>187</sup> *Hellbeck J. Revolution on My Mind: Writing a Diary under Stalin*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2006; *Fritzsche P., Hellbeck J. The New Man in Stalinist Russia and Nazi Germany // Beyond Totalitarianism: Stalinism and Nazism Compared / ed. M. Geyer, Sh. Fitzpatrick*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. P. 302–344.

ненные, но все же западные критерии оценки промышленности, техники и науки; кроме того, сталинский Советский Союз в конце концов унаследовал и радостно принял собственную ориентированную на Запад, докоммунистическую высокую культуру. Таким образом, антибуржуазный вектор ранней советской идеологии и культуры по сути своей отнюдь не был всецело или непосредственно антизападным. Однако подвергнутые осуждению «буржуазные» и «декадентские» формы коммерческой массовой культуры, от голливудских фильмов до фокстрота и приключенческих жанров, пользовавшихся успехом у массовой публики, оказались в числе наиболее порицаемых (а потому для некоторых особенно желанных и вызывающих восхищение) из «ввозимых» из-за рубежа и относимых морализаторами и радикалами к капиталистическому Западу<sup>188</sup>.

Поэтому Запад являлся не только источником буржуазной заразы, но и обязательной отправной точкой для любого советского кратчайшего пути к модерности. Через двадцать лет после 1917 года советская культура и идеология оказались разделены между конкурирующими стратегиями по отношению к внешнему миру: с точки зрения одной за граница представляла в первую очередь как источник беспорядка, шпионажа и декаданса; вторая состояла в оптимистическом стремлении привлечь потенциальных западных союзников к следованию общей цели<sup>189</sup>. Но если говорить в целом, ведущие представители партийной интеллигенции разделяли с передовыми интеллектуалами ранней советской эпохи стремление к новой, некоммерческой культуре для преобразованных масс. Как выразился Борис Гройс, «советская массовая культура была культурой для масс, которые еще предстояло создать»<sup>190</sup>.

Например, в 1920-е годы Ольга Каменева, сестра Льва Троцкого и жена члена Политбюро Льва Каменева, стала основателем и руководителем Всесоюзного общества культурной связи с границей (ВОКС), организации, которая призвана была убедить зарубежную интеллигенцию в достижениях СССР. В обсуждениях, проводившихся в 1928 году на высоком уровне Центрального комитета, Каменева прямо заявила, что сторонники левых движений в Европе ушли далеко вперед по сравнению с теми советскими мещанами, которые копируют европейскую буржуазную и массовую культуру. Левый европейский интеллектуал, утверждала она, взял бы в СССР лучшее из новой пролетарской культуры, а затем, в свою очередь, содействовал усилению этих тенденций в самом СССР<sup>191</sup>. Это было знаменательное заявление в устах человека, которому было поручено убедить мир в советском прогрессе: культурный обмен между Европой и Советским Союзом мог, в сущности, уберечь невзыскательную советскую культуру от ее собственных примитивных и мещанских инстинктов. У интеллигента из старых большевиков презрение к остаткам коммерческой массовой культуры в 1920-е годы по-прежнему пересиливало недоверие к Западу, однако в 1930-е годы этому соотношению суждено было кардинально измениться.

---

<sup>188</sup> Von Geldern J. Introduction. P. xv.

<sup>189</sup> Об этой двойственности см.: Дэвид-Фокс М. Витрины великого эксперимента: культурная дипломатия Советского Союза и его западные гости, 1921—1941 годы. М.: Новое литературное обозрение, 2015. О вредоносном влиянии как определяющей черте политической культуры нэпа см.: Pinnow K. Lost to the Collective: Suicide and the Promise of Soviet Socialism, 1921–1929. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2010.

<sup>190</sup> Groys B. Die Massenkultur der Utopie / Utopian Mass Culture // Traumfabrik Kommunismus / Dream Factory Communism / ed. B. Groys, M. Hollein. Frankfurt: Hatje Cantz, 2004. S. 23.

<sup>191</sup> Каменева – Смирнову (Отдел печати ЦК), 21 января 1928 года, и «В ЦК ВКП(б)», без даты, 1928 год. ГАРФ. Ф. 5283. Оп. 1а. Д. 118. Л. 9–20, 115 соответственно.

## СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ И ОТКАЗ ОТ ДЕЛЕНИЯ НА ВЫСОКОЕ И НИЗКОЕ

На протяжении первой половины 1930-х годов большевистскую социальную инженерию дополняла эстетическая инженерия авангардистов. Эстетизация политики шла рука об руку с политизацией эстетики. Авангард слишком сложен, чтобы определить одной фразой, но, пользуясь выражением Бориса Гройса, его, по сути, можно назвать шагом от изображения мира к его преобразованию. По той же причине – социализму предстояло не просто преобразовать мир, но сделать его прекрасным, – партийное руководство превратилось «в своего рода художника, для которого весь мир служит материалом»<sup>192</sup>. Ключевой труд Гройса о преемственности между авангардом и сталинской культурой, вне зависимости от того, насколько последовательно были изложены признаки этой преемственности, изменил исследовательскую перспективу: авангардистов стали рассматривать не столько как мучеников, сколько как активных участников главных эстетических и идеологических проектов нового режима. Большевики и интеллектуалы-авангардисты предстают, таким образом, как время от времени отдающиеся друг от друга родственники-интеллигенты, которых объединяет неуклонная тяга к лидерству, охотное использование принуждения, живая приверженность делу, склонность сочетать элитарность учения с массовыми преобразованиями и масштабные планы, начинающиеся обществом и заканчивающиеся душой<sup>193</sup>. Однако, вопреки Гройсу, стремление авангардистов к глобальной эстетической диктатуре едва ли было, в особенности если рассматривать его влияние, сопоставимо с большевистской диктатурой пролетариата. Художественно-политическая программа раннего советского авангарда скорее окончательно сформировалась и затем видоизменялась благодаря участию в большевистском проекте.

В то же время специалисты из рядов интеллигенции участвовали – одни охотно, другие в той или иной мере подчиняясь давлению и принуждению – в развитии различных областей: социальной медицины, криминологии, психологии, этнографии, демографии и многих других, – ставших ключевыми для цивилизаторской миссии большевиков и построения советской государственности<sup>194</sup>. Как и в случае с авангардом, Октябрьская революция дала интеллигенции беспрецедентную возможность участия – хотя и «опосредованного государством», то есть подчиненного марксистско-ленинской идеологии и ограниченного политическим контролем большевиков, – в пробуждении 1917 года. Как показал Дэвид Л. Хоффман, «питательная среда» дореволюционной культуры, включающая в себя различные научные дисциплины и, в частности, социологию, развиваемые специалистами из интеллигенции, стала ключевым фактором укрепления марксистско-ленинской идеологии в межвоенные десятилетия<sup>195</sup>. И в самом деле, если учитывать смесь идеологии и технократии, обусловившую масштаб и вектор социальной инженерии в раннюю советскую и сталинскую эпохи, возникает соблазн странным образом усмотреть связь между руководящей большевистской интеллигенцией и буржуазными специалистами. Они были профессиональными революционерами или политическими специ-

---

<sup>192</sup> Гройс Б. *Gesamtkunstwerk* Сталин. М.: Ад Маргинем Пресс, 2013. С. 19. См. классические работы, подчеркивающие различия между культурой 1920-х годов и сталинской эпохи: *Stites R. Revolutionary Dreams; Паперный В.* Культура два. 2-е изд. М.: Новое литературное обозрение, 2006.

<sup>193</sup> Clark K. Petersburg; Papazian E. *Manufacturing Truth*; Kiaer Ch. *Imagine No Possessions: The Socialist Objects of Russian Constructivism*. Cambridge, MA: MIT Press, 2005; Wolf E. *USSR in Construction: From Avant-Garde to Socialist Realist Practice*. PhD diss., University of Michigan, 1999.

<sup>194</sup> На эту тему см. в том числе: *Hirsch F. Empire of Nations: Ethnographic Knowledge and the Making of the Soviet Union*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2005; *Pinnow K. Lost to the Collective*; Beer D. *Renovating Russia*.

<sup>195</sup> *Hoffmann D.L. Cultivating the Masses*.

алистами; теоретической областью их компетенции была марксистско-ленинская идеология, сферой применения этой теории было прежде всего политическое насилие.

Участники бурных диспутов об определении и векторе развития революционной культуры, начавшихся после 1917 года и достигших наивысшего напряжения в период «великого перелома», в конце концов должны были осознать тот факт, что политизированная и экспериментальная культурная продукция партийных поборников пролетарской культуры и непартийных авангардистов в равной степени испытывает серьезные затруднения в привлечении и удержании массовой публики. Новая доктрина социалистического реализма, утвержденная после сталинской революции, могла быть лишь отчасти обусловлена этой дилеммой, но, безусловно, оказалась средством ее решения<sup>196</sup>.

В результате смены нескольких культурно-идеологических циклов на протяжении 1930-х годов советская массовая культура приняла форму, которая на протяжении всей советской эпохи лишь видоизменялась, но оставалась доминирующей. Антибуржуазные выпады времен «Великого перелома» содержали враждебные интонации по отношению к культуре прошлого и к западной культуре, но к середине – концу 1930-х годов перечень культурных продуктов, приемлемых для советских масс, подвергся существенному пересмотру. Так, хорошее знание старой российской высокой культуры выделяло его обладателя на общем фоне, а приемлемые политические формы массовых развлечений и своеобразный, устремленный в будущее «мир грез» о социалистическом потреблении, предлагавший продукцию для приверженцев режима как необходимое дополнение благополучной «культурной» жизни, процветали в рамках соцреализма<sup>197</sup>. Как отмечали многие комментаторы, желание достичь широкой публики и завоевать ее в конечном счете вылилось в компромисс между режимом и массовыми предпочтениями. Как сказал Добренко, «социалистический реализм – это культурная революция не только „сверху“, но и „снизу“»<sup>198</sup>.

Привлекательности соцреализма способствовали также социальные и политические итоги сталинской революции после 1929 года с ее массовым возвышением кадров как новой элиты и головокругительной урбанизацией наряду с масштабным внедрением принудительной коллективизации сельского хозяйства. Соцреалистическая массовая культура обладала многими фольклорными чертами, адаптируя старые темы, вызывавшие отклик у широкой аудитории, к новым политизированным формам. Морализм и коллективизм можно было позаимствовать у старого режима и из деревенской жизни, а также у партийной государственности и из «проповедей интеллигенции»<sup>199</sup>.

Попытка укрепить новую единообразную культуру за счет массового признания переопределила раннюю советскую цивилизаторскую миссию в новое русло – беспрецедентную по своим масштабам кампанию в пользу «культурности», начавшуюся в середине – конце 1930-х годов. Теперь стандартный набор знаний в области политики и культуры подразумевал более высокий уровень потребления и жизни, предоставляемый сторонникам системы и прежде всего элите. Опросник «Культурный ли вы человек?», напечатанный в газете в 1936 году, предлагал читателям вспомнить строки пушкинского стихотворения и сюжеты шекспировских пьес, продемонстрировав также познания в математике, географии и классическом марксизме-ленинизме. Сталинская кампания в пользу культурности совпала с массовым уничтожением многих представителей элиты и тех, кого в годы Большого террора сочли врагами и маргиналами. На самом деле террор и культурная кампания были связаны: первый разру-

---

<sup>196</sup> Наиболее подробно она рассмотрена в книге «Соцреалистический канон» объемом 1036 страниц.

<sup>197</sup> *Randall A.* The Soviet Dream World of Retail Trade and Consumption in the 1930s. Houndmills: Palgrave Macmillan, 2008.

<sup>198</sup> *Dobrenko E.* The Making of the State Writer: Social and Aesthetic Origins of Soviet Literary Culture / trans. J.M. Savage. Stanford, CA: Stanford University Press, 2001. P. xx.

<sup>199</sup> *Sities R.* Russian Popular Culture, цитаты: P. 5, 6. См. русскоязычную работу на эту тему: *Лебедева В.Г.* Судьбы массовой культуры в России. Вторая половина XIX – первая треть XX века. СПб.: Издательство С.-Петербургского университета, 2007.

шал, вторая пыталась создать. Более того, на практике в культурных пространствах сталинской эпохи, таких как знаменитый Центральный парк культуры и отдыха имени Горького, существовало множество механизмов исключения, отделявших привилегированных и лояльных от всех остальных<sup>200</sup>

---

<sup>200</sup> Volkov V. The Concept of *Kulturnos't*. P. 224; Kucher K. Der Gorki-Park. P. 283. См. также: Hoffmann D.L. Stalinist Values; Kelly C., Shepherd D. Constructing Russian Culture. P. 291–313.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.